

Израиль Меттер ПЯТЫЙ УГОЛ



Израиль
Меттер
ПЯТЫЙ
УГОЛ



Ж
(жизни)



проза еврейской жизни

וְעַתָּה
חַי

|||
проза еврейской жизни

Израиль Меттер

Пятый угол

Повесть

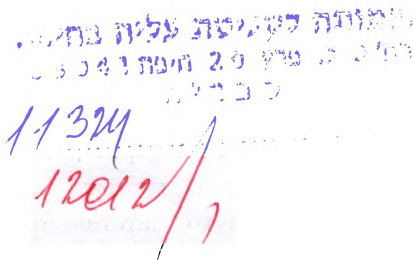


при поддержке
Фонда Ави Хай
Москва 2009

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)
М54

Серия основана в 2005 году

Оформление серии А. БОНДАРЕНКО



ISBN 978-5-7516-0821-7 («Текст»)
ISBN 978-5-9953-0027-4 («Книжники»)

© «Текст», 2009

Друг моего далекого детства Саша Белявский погиб под Киевом в первый год войны. Но еще задолго до его смерти мы виделись с ним так редко, что, встречаясь, испытывали оба странное чувство: давнее знакомство обязывало нас к близости, но близости этой не было, пожалуй, именно из-за давнего знакомства.

Нас связывали детские воспоминания, окаменевшие, как на любительской фотографии. Все, что мы помнили, можно было перечислить по пальцам: какая-то, уже нереальная, дача под Харьковом, гамак, на котором мы качались, жуки в спичечных коробках, гроза с градом, игра в индейцев. Доброе, глухое детство, отгороженное от всего мира, от злого потока внешней информации, как теперь принято говорить, — оно не давало нам права на взрослую дружбу.

Мы росли в очень разных семьях. Отец Саши, крещеный еврей, был видным харьковским юристом. В моем нищем дворе на Рыбной улице к таким людям относились путано: их уважали, но с оттенком презрения. Осуществленная мечта дореволюционного еврея — высшее образование, купленное ценой измены, — это и порождало двойственное отношение к Сашину отцу. В те далекие времена предательству еще умели удивляться, да и платили за него дороже, чем нынче.

В конце двадцатых годов я уехал с Украины в Ленинград, и с тех пор мы виделись с Сашей от случая к случаю: то он приедет в командировку на север, то я появлюсь у своих родных в Харькове. Встречаясь, мы начинали с того места, на котором остановились в детстве, и уже никак было не сдвинуться вперед.

Я знал, что Саша окончил филологический факультет.

Он знал, что я ничего не окончил.

Ему было проще учиться в двадцатые годы, нежели мне: при поступлении в институт Саша шел по третьей категории — сын интеллигента. А было этих социальных категорий пять: рабочие, крестьяне, интеллигенция, служащие, кустари и пр. Я числился по самой последней, по пятой. Отец мой кормил семью из шести человек всеми

доступными ему кустарными способами. Вот тогда-то я впервые и понял, что значит анкета и как она ровным счетом ничего не отражает в человеческой жизни.

Мы жили бедно, но анкетное клеймо горело на моем лбу — сын частника. С тех пор прошло сорок лет, и за этот огромный для одной человеческой жизни срок я казнил себя за многие свои пороки, кроме единственного: мне никогда не удавалось изловить себя хоть на какой-нибудь мелочи, типичной именно для сына частника.

Четыре года подряд я сдавал экзамены в институты, перетаскивая свои позорные документы из одной приемной комиссии в другую, и четырежды не находил своей фамилии в длинных списках принятых.

Не было у меня злобы на это.

Было — отчаяние. Отчаяние оттого, что мне не повезло. Революция установила правила, которые я не подвергал сомнению. По этим правилам я числился в пятой категории. Это была моя беда — так я тогда считал.

Уже много позднее меня терзали в жизни другие анкетные пункты, терзали несравненно глубже, потому что они касались судеб миллионов людей, и отчаяние мое уже не носило только личного характера.

Я не знаю, в каком веке изобретена анкета. Быть может, она ведет свое начало с Варфоломеевской ночи, когда на дверях домов гугенотов чертили мелом кресты.

Обстоятельств гибели Саши Белявского я не знал. Кто-то из наших общих друзей сообщил мне еще в горестном сорок первом году, что Саша пропал без вести, когда наши войска оставляли Киев. Печальные известия того времени шли на людей стеной.

Года через три я получил письмо от Сашиного отца. Сергей Павлович писал мне, что розыски сына ни к чему не привели. Очевидцев его гибели не было, однако один из офицеров разведки известил Сергея Павловича, что видел Сашу последним. С пехотным полком армейский переводчик Александр Белявский попал в окружение. Полк пытался прорваться сквозь кольцо, Саша сражался в строю, как боец, однако пробиться из окружения удалось немногим — Саши среди них не было.

Вот, собственно, и почти все, что я знал о друге моего далекого, глухого детства.

Однако с течением времени я стал получать редкие письма от харьковских мальчиков и девочек. Они были теперь пенсионерами и, располагая свободным временем для того, чтобы обдумать прожитую жизнь, собирали вокруг себя свое прошлое. Из тьмы времен возникали для меня, вырванные

пламенем чужих воспоминаний, картины моего немудреного детства. Они были косноязычны для постороннего, я не мог бы их пересказать.

В памяти пожилого человека есть какая-то мистика: мне не кажется, что мое детство прошло навсегда, — оно было и должно вернуться еще раз. Я покупаю книги, которыми захлебывался в те далекие годы — Майна Рида, Фенимора Купера, Луи Жаколио, — и, вопреки логике, убежден, что они еще пригодятся мне. Мне хочется, чтобы мое будущее детство было более удобным, чтобы оно не застигло меня врасплох: все необходимое должно быть под рукой — увлекательные книги, футбольный мяч, велосипед. Я настрадался без этого в прошлом детстве. А может, это только сейчас кажется, что я тогда настрадался?

Но если оно действительно придет? Смогу ли я вести себя так, словно не знаю, чем все кончилось? На меня опрокинется мой сегодняшний опыт, я буду стоять по горло в нем. И вот что странно: в опыт этот не войдут достижения мировой науки и техники. В моем будущем детстве меня, как и раньше, вполне устроят ковер-самолет, подводная лодка «Наутилус» и простая шпага в руках д'Артаньяна. Бог с ними, с атомными реакторами и глобальными ракетами. Не этим обогащена и отягощена моя длинная жизнь.

А вот как быть с утраченными иллюзиями? Как быть с тем, во что я верил? Как быть с самим собой — с тем, что я хотел сказать и сделать и чего не сказал и не сделал? И не потому, что не успел. У меня было время поразмыслить. Я приходил к выводам, пугающим меня.

Среди писем, которые я получал от девочек и мальчиков пенсионеров, среди их фотокарточек — против них бунтовала моя память — я стал получать любезные послания из далекого Самарканда.

Писала мне Зинаида Борисовна Струева.

Сколько я ни ворошил свои воспоминания, мне никак было не припомнить этого имени. А она-то знала о моем детстве, о моей юности решительно все. В каждом своем письме Зинаида Борисовна походя упоминала людей и события настолько точно, что я диву давался. Откуда ей было знать о моем дворе, населенном пятой категорией? Я и сам-то смутно помнил, как стриг на скамейке Моньку Хавкина: стащив у отца машинку для стрижки, я уговорил Моню, гнусавого моего соседа по лестнице, дать мне возможность овладеть парикмахерским искусством. Машинка впилась в ужасающие Монькины кудри и повисла на них в десяти сантиметрах от его низкого лба. Вопли моего клиента согнали во двор все население нашего трехэтажного дома. Я был порот отцом нещадно. Об этом писала мне Зинаида Борисовна.

Пятый угол

В двадцатом году нас уплотнили. Четыре женщины — работницы табачной фабрики — вселились в нашу квартиру. Для них реквизировали самую большую комнату — столовую. Сейчас я думаю, что в ней было метров пятнадцать. В столовой стоял двуспальный буфет; в нижнем его отделении работницы поселили поросенка. Это был самый смирный и тихий поросенок, которого мне доводилось встречать в жизни. В то шумное и грубое время он вел себя незлобиво и благопристойно. Как доброе животное. И об этом писала мне Зинаида Борисовна.

Она писала и о том, что я был влюблен в Нару Золотухину. Откуда это имя — Нара? И где ты теперь, Нара? Помнишь ли ты, как я прикоснулся своими неумелыми губами к твоей розовой щеке? Мы стояли с тобой за кулисами самодельного зрительного зала тридцатой трудовой семилетней школы.

Ты только что прочитала со сцены стихи Брюсова: каменщик, каменщик, в фартуке белом, что ты там строишь? И каменщик отвечал — тюрьму. Я поцеловал тебя в щеку, коченея от восторга. Мы были с тобой такими наивными, Нара. Нам было наплевать, что каменщик в это мгновение строил тюрьму. Мы не знали тогда, в двадцать третьем году, что через пятнадцать лет в эту тюрьму сядут наши школьные товарищи: Колька Чоп,

Тосик Зунин и Миша Синьков. Это были наши с тобой одноклассники, Нара. Мы пошли провожать тебя вчетвером, ты была пятой, и из этих пяти человек я чудом остался один на свете, потому что тебя тоже нет.

А может, я остался в живых именно потому, что я сын частника? Или потому, что я еврей? Мне столько раз давали понять — и жизнь моя, и газеты, и книги, — что именно эта пятая категория особенно живуча. В огне не горит и в воде не тонет. Боже ты мой, сколько их сгорело в огне. И сколько горит сейчас на медленном костре своей совести!

Фантастический двор на Рыбной, 28. Я не помню, каким он был до революции. Но и само это понятие — революция — являлось к нам во двор долго и по нескольку раз.

Я проходил потом по учебникам все то, что составляло мою жизнь. Однако сеть, при помощи которой историки пытаются уловить явления действительности, эта сеть состоит из крупных ячеек — мой двор, вся моя жизнь проваливаются в эти ячейки, и я всегда оказываюсь мальком, неинтересным для истории.

История легко объясняет судьбу целого класса, но не может объяснить жизнь одного человека.

Пятый угол

Впрочем, и не дай бог, чтоб это входило в ее обязанности. Потому что если закономерности целого класса обрушить на судьбу одного человека, то ему не снести этой ноши.

Я хотел бы, чтоб ко мне относились как к неповторимой личности. И готов платить тем же всему человечеству.

Есть один способ сделать себя неповторимым, хотя бы для себя. Нужно вспомнить свою юность. И тогда покажется, что она удивительна. Когда рядом с тобой, в юности, живут твои сверстники, всем нам представляется, что у нас одна судьба. Проходит время, наши судьбы извиваются и закручиваются, они горят, как бикфордов шнур, и каждый из нас гаснет или взрывается по-своему.

Во дворе нашего дома стоял пулемет. Он был обращен стволом к подворотне. Ворота заперты наглухо, а в единственном парадном подъезде круглосуточно дежурила самооборона. Пять-шесть мужчин, расставив на нижней лестничной площадке ломберный стол, круглые сутки играли в преферанс.

Мой отец тоже входил в эту самооборону — так она называлась в нашем дворе. У отца была пагубная страсть к огнестрельному оружию. Он собирал револьверы, никогда не стреляя из них.

Странная аберрация памяти происходит, когда думаешь о своих родителях, — они всегда для

нас старики. Моему старику отцу было в те годы недалеко за сорок. Он годился бы мне сейчас в сыновья.

В каком же это было году, Зинаида Борисовна? Я стою, зажатый коленями отца, в хоральной синагоге. Громкое победное бормотанье обступило меня со всех сторон. Шелковые полосатые талесы покрывают плечи и спины молящихся. Никакой веры нету в моей душе. Для меня это игра, которую придумали взрослые. Я вижу, что им наскучивает играть в нее.

В перерыве между службами они до отказа заполняют квадратный синагогальный двор. Молитвенная пленка скуки, придававшая их глазам одинаково сонное выражение, рассеивается. Шум, как пар, стелется над двором. Мне непонятно и неинтересно слушать, о чем они говорят. Сейчас я догадываюсь, что они говорят о политике.

Много лет спустя я бывал в костелах, мечетях и церквях. Насколько же больше святости, истовости и благолепия во всех этих храмах. Я имею в виду не архитектуру, а религиозный климат модельного дома.

В моей семье верили в Бога буднично. Меня заставляли молиться. Но понуждали меня к этому так же, как к приготовлению уроков. Религия на Рыбной улице была синонимом респектабельности, соблюдением приличий.

Пятый угол

В тринадцать лет, в день своего совершеннолетия, я произнес положенную речь в присутствии гостей. Она была написана мной на двух языках: на родном, живом — русском и на мертвом для меня — древнееврейском. Речь начиналась словами: «Дорогие родители и уважаемые гости!» Больше я ничего из нее не помню. Не помнил и тогда, когда произносил, ибо среди гостей сидела за столом ослепительная Таня Каменская; в каштановых ее волосах плавал бант. Она работает сейчас библиотекарем в городе Харькове. Мы виделись с ней в шестидесятом году. Когда я вошел в ее квартиру на Черноглазовской улице, Таня успела шепнуть мне в дверях:

— Пожалуйста, не говори при муже, сколько мне лет.

Она могла бы и не предупреждать меня: Тане Каменской тринадцать лет навсегда, на всю мою жизнь. И когда придет мое будущее детство — не может же оно исчезнуть бесследно, оно должно воротиться, — я явлюсь к ее нынешнему мужу и скажу ему:

— Если вы порядочный человек, отдайте мне мою Таню. Даю вам честное слово мальчика, что я пальцем до нее не дотронусь.

Мы возьмемся за руки и медленно спустимся по лестнице. Медленно, потому что у меня большое сердце, а у Тани разбиты подагрой ноги.

ИЗРАИЛЬ МЕТТЕР

Вот наш двор.
Мы сядем на лавочку.
Таня поправит свой бант.
Сперва мы посчитаемся.

Энэ-бэнэ-рес
Квинтер-квантер-жес.
Энэ-бэнэ-раба
Квинтер-квантер-ЖАБА!

Всегда получается, что я — ЖАБА. Мне начинать.
— Ух, какая ты красивая, — скажу я ей.
— Спасибо за комплимент, — ответит Таня. —
Раньше ты мне этого не говорил.
— Я робел.
— Раньше ты говорил мне, что я давлю фасон.
— Но ведь ты же понимала, что я люблю тебя?
— Мало ли, что я понимала. Ты должен был
сказать.
— Я люблю тебя.
— А зачем ты купил мороженое Лидке Колесни-
ковой?
— Чтобы ты ревновала.
— И когда мы играли вчера во флирт цветов,
ты послал ей «орхидею». Я посмотрела потом «ор-
хидею», там было написано: «Я утром должен быть
уверен, что с вами днем увижусь я».

— Так это же Пушкин.

— Ты посылал не от Пушкина. Ты посылал от себя. Я проревела всю ночь.

— Твоя Лидка дура. Она нужна мне, как собаке «здрасте».

Мы сидим с Таней на лавочке.

Через три года умрет Ленин.

Через двадцать лет в Харьков войдут немцы.

Эти походы в свое прошлое изнурительны. Перед тобой лежит черновик твоей жизни — никому ведь не дано жить начисто, — и ты не имеешь права вымарать ни одной строчки. Может быть, я ничего и не вымарывал бы, но я бы непременно вписал.

У историка Нечкиной есть книга, «14 декабря 1825 года». В тоненькой этой книжке рассказан, час за часом, один день русской истории. Восставшие полки выстроены офицерами-декабристами на Сенатской площади. Они ждут сигнала к выступлению. Николай гневно мечется по Зимнему дворцу. Перевес на стороне декабристов. Они ждут. С секунды на секунду должен появиться Трубецкой. По условиям заговора он — глава восстания. По его команде полки ринутся в бунт. Трубецкой опаздывает. Трубецкой не приходит. Николаю удастся собрать войска и разбить наголову бунтовщиков.

Дочитав книжку Нечкиной, студенты спрашивают у нее на лекциях: ну а если бы Трубецкой не опоздал? Если бы он прискакал вовремя?

Академик Нечкина отвечает им: истории противопоставлены эти вопросы. У истории нельзя спрашивать — если бы... Все закономерно у этой зануды истории.

Но у себя-то я имею право спрашивать?

Разве в масштабах моей крохотной жизни так уж все закономерно?

Сколько раз я хотел поступить не так, как поступал. Значит, мой личный Трубецкой тоже опаздывал? Он скакал где-то за моими плечами, иногда мне казалось, что я слышу усталый храп его коня, а порой видна была только пыль на горизонте. Сукин ты сын, ваше сиятельство. И конь под тобой не жеребец, а мерин.

В двадцатом году в нашем доме приключился пожар. Ночью загорелась сажа в дымоходе. Весь день до этого во всех этажах пекли гоменташа — треугольные пирожки с маком. Их положено печь в канун веселого праздника Пурим. Старый дымоход не выдержал этого ритуального накала — пожар поплыл по вертикали, спалив три квартиры.

Мы сидели во дворе на узлах с бельем. Да еще стоял рядом с нами, прямо на земле, таз с этими

глупыми гоменташами; волнуясь, мы жевали их один за другим.

Я не помню ни причитаний матери, ни растерянности отца.

Своего отца я видел растерянным и беспомощным один раз в жизни — незадолго до его смерти. Ему было восемьдесят два года, когда мы с братом привезли его на «скорой помощи» в больницу. Он лежал на носилках на полу в приемном покое. Откинув пальто, которым был прикрыт отец, дежурный врач быстро взглянул на его непомерно раздувшийся от водянки живот, на его белесые губы, торопливо ухватывающие мелкие рюмочки воздуха и тут же, на пороге рта, проливающие их; дежурный врач потрогал пульс отца, присев рядом с носилками на корточки.

— Хорошенькая история, доктор! — прошептал отец.

— Сколько ему лет? — спросил дежурный врач. Я ответил.

— Доктор, — сказал отец медленно, но разборчиво, — старикам везде у нас почет, я слышал это по радио...

— Лежите тихо, дедушка, — сказал врач и пошел к своему столику. — Ему надо откачать жидкость из живота и полежать в кислородной палатке, — сказал нам врач. Он снял очки со своего молодого усталого лица, дунул на стекла и стал

протирать их полкой несвежего халата. — К сожалению, я не смогу его оформить. Возраст вашего папаша... — Он развел руками. — Попробуйте пройти к главврачу.

Если бы я сделал с главврачом то, о чем мечтал во время разговора с ним, то мой тюремный срок закончился бы в будущем году.

Отец умер на третьи сутки, ровно в тот вечер, до которого главврач согласился продержать его в переполненной до отказа палате.

Его койку не отгородили ширмой от других больных, ибо предсмертные мучения и агония старика не отравляют настроения окружающих.

Молоденькая сиделка попросила меня с братом перенести отца из палаты третьего этажа в подвал больничного морга.

Мы не знали, что нам придется нести его голым. Брату было лучше — он шел с носилками впереди, спиной к телу. А передо мной все три этажа длинной, как жизнь, лестницы лежал обесстыженный смертью отец. Я никогда не видел его голым, я знал, что ему и мертвому унижительно показываться сыновьям в таком виде. Зажмуриваясь и спотыкаясь на поворотах лестницы, я нес опухший труп своего отца. Обиды и горе, которые я ему в жизни причинил, лежали передо мной на рваных грязных носилках.

Пятый угол

Прости меня, отец.

Мы похоронили тебя на еврейском кладбище. В пустой задней комнате кладбищенской синагоги тебя обмыли две старухи и одели в костюм, который ты носил по праздникам столько лет, сколько я тебя помню. Задремывая и просыпаясь, старухи зашили тебя поверх костюма в саван одной длинной ниткой без узелков. Теперь я знаю, для чего это делается: на том свете, в который мы с тобой по-разному не верили, ты выдернул эту нитку в один прием и предстал на Страшном суде, разутый, в своем лучшем костюме. У тебя было что порассказать Иегове. Не так уж хорошо он устроил наш белый свет, чтобы иметь право вызывать людей на Страшный суд. И разве мог он хоть чем-нибудь испугать тебя после того, что ты видел на земле? Вызвать пьяного харьковского квартального и потребовать право на жительство? Обвинить тебя в том, что ты ешь мацу с младенческой христианской кровью? Призвать гитлеровцев на небо? Устроить на твоих глазах процесс врачей-убийц?

Я спокоен за тебя, отец, на том свете. Тебе некого и нечего там бояться.

После пожара мы переехали на Черноглазовскую улицу. Окна нашей квартиры выходили вровень с тротуаром, и я быстро научился распознавать людей по ногам.

Над калиткой нашего дома висела скромная вывеска:

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
докторов
ЖДАНОВА И ГУРЕВИЧ

Лечебница помещалась в одноэтажном желтом флигеле, обращенном одной своей стороной в сад. Больные, которых в те времена называли запросто — сумасшедшими, — жили в лечебнице подолгу. Большинство из них были тихопомешанными. Добрые и вежливые, они бродили по нашему двору и по саду без всякого присмотра. Забредали они и к нам домой в подвальную квартиру.

Первое время я дичился их, а потом привык. Мне и моим товарищам они не казались такими уж безумными. Интересы и наклонности взрослых чаще всего чужды детям, быть может, поэтому я не всегда замечал в черноглазовских сумасшедших разительных отклонений от нормы.

Заходил к нам в подвал Воробейчик. Мать угощала его чаем с сахарином. Он сидел за столом, церемонно подобрав коротенькие ноги в кальсонах под стул. Кажется, у него была мания величия, но я этого не чувствовал. Очевидно, величие его не обременяло окружающих: оно было настолько

для него внутренне бесспорным, что не требовало никаких внешних подтверждений. В этом смысле деликатное безумие великого Воробейчика выгодно отличалось от безумия нормальных людей. Ласково глядя меня по голове, он иногда бормотал речи, обращенные к Учредительному собранию.

Вероятно, каждая эпоха порождает своих сумасшедших: самый замысловатый бред больного мозга есть в какой-то степени отражение действительности. Человек сходит с ума на современную ему тему.

За единственным решетчатым окном лечебницы Жданова и Гуревич металась в ночной рубашке растерзанная Соня: в буйном помешательстве ей мерещилось, что ее насилует эскадрон донских казаков.

Привозили к нам больных с Поволжья — они сошли с ума от голода. Их черные обглоданные лица и мучительно безразличные, гигантские глаза пугали меня. Я и не подозревал тогда, что зимой сорок первого года в блокадном Ленинграде у меня у самого будет такое лицо.

Ходил по нашему саду задумчивый молодой человек в белье и в студенческой фуражке. Его звали Жорж Борман. С детской жестокостью мы сперва потешались над ним, но он обезоружил нас своей

кротостью и недюжинным знанием математики. В саду, на песке, кончиком обструганной палочки Жоржик Борман, побочный сын знаменитого шоколадного фабриканта, тронувшийся от неразделенной любви, решал нам алгебраические задачи.

Сейчас, через сорок с лишним лет, после всего того, что я видел и в чем принимал участие, мне кажется, что на Черноглазовской был удивительно старомодный сумасшедший дом. Тамошние безумцы жили своей отдельной, сосредоточенной жизнью, они бережно лелеяли свой бред внутри себя, не стремясь навязать его всему человечеству.

Не обижайтесь на меня, Зинаида Борисовна, — я не забыл о вас. И спасибо за фотографии, которые вы мне прислали. Юношеские стихи Саши Белявского я тоже получил. Помните, каким щегольским, гортанным голосом он их читал?

Мы собирались на Клочковской улице, в убогой квартире Тосика Зунина. У него была туча маленьких засопленных сестричек, они ползали по полу, Тосик походя подбирал их, как котят, и рассовывал по углам, но они снова оказывались у него под ногами.

Глава семьи, Рувим Зунин, инвалид империалистической войны, со злым оконным ревматиз-

мом в костях, сидел на табурете перед воротами, укутанный в ватное тряпье, и наблюдал жизнь улицы. Кормила семью мать. Из воды и сахара она колдовала мороженое, из корок черного хлеба — квас. С этим товаром она выходила на рассвете на Благбаз — так назывался в Харькове знаменитый Благовещенский базар. Ее старший сын, подслеповатый Тосик, гордость тридцатой трудовой школы, будущий молодой профессор университета, неправдоподобно начитанный юноша Тосик — апологет Великой французской революции и знаток политэкономии — нес за своей матерью мороженицу в кадушке. Его лучший друг, Мишка Синьков — сын наркомпочтеля Украины, — волочил на загорбке бельевую корзину, уставленную бутылками с квасом.

У базарных рундуков они разгружались. Мать Тосика испуганно открывала торговлю. Для того чтобы привлечь к ней внимание базара, Мишка распахивал свою семинарскую пасть и голосом удивительной красоты запевал:

— Как во городе то было, во Казани!..

Благовещенский базар восхищенно вздрагивал и оборачивался на Мишкин голос. Набрав в легкие воздух до упора, он выпевал:

— Грозный царь пировал и веселился!..

Затем он ласково склонялся к матери Тосика и говорил:

— Живите, мамаша, спокойненько. А мы с Тосиком пойдем...

И, загребая ногами пыль, долговязый Мишка Синьков уводил своего подслеповатого друга к себе домой. Оба они увлекались в те годы «Капиталом» Маркса.

Самым голодным и неприкаянным из нас был Мишка. Он жил со своим отцом в пустой, необставленной, нежилого вида квартире — от наркома почт и телеграфа ушла жена. По крайней занятости отца и безалаберности сына они виделись редко, оставляя друг другу записки и еду на кухне. Записки были коротенькие: «Посоли, батя». Или: «Бульба под подушкой».

То, что наш приятель был сыном народного комиссара, нисколько нас не занимало. Да и узнали мы об этом гораздо позднее, чем подружились с ним. Профессия родителей нас вообще мало волновала. Какие есть, таких и любим.

Куда же это все провалилось, Зинаида Борисовна? Подумать только: нас было столько — легких, чистых, добрых, мы никого не обижали, нам было наплевать на деньги, на то, как мы одеты и что жуем, — почему же мы не оставили никакого следа на земле? С какого дня, с какой минуты мы стали креститься набок? Ведь была же такая роковая для каждого из нас минута!

Пятый угол

Я перебираю свою жизнь, как перебираю крупу, держа ее на ладони и выискивая сорные семена.

Знакомо ли вам чувство отвращения к себе, Зинаида Борисовна? Оно особенно сильно по утрам, когда предстоит прожить долгий день с опостылевшим самим собой. У моего поколения нарушен нравственный обмен веществ: мы больше ничего не впитываем и мало чего отдаем — воспоминания гниют в нас.

В стародавние времена у пожилых людей было одно преимущество перед молодыми: им казалось, что они чище и точнее прожили свою жизнь. Это преимущество утрачено мной. И молодые люди, разговаривая со мной, дают мне понять, что у них нынче оскомины оттого, что я ел их виноград. Не ел я твоего винограда, молодой человек. И зря ты ходишь передо мной подбоченясь...

С Сашей Белявским мы открыли курсы по подготовке в вуз.

Курсы были самоделковые: Саша уже учился на первом курсе филологического факультета, а меня уже в первый раз не приняли на медицинский. Вдвоем мы сколотили группу малоспособных абитуриентов и за небольшую плату натаскивали их по программе средней школы.

На мою долю пришлись точные науки, на Сашину — гуманитарные. Вот тогда-то я и сделал для себя важное педагогическое открытие: если

ты чего-нибудь не понимаешь до конца, начни это преподавать. Объясняя своим ученикам математические правила и физические законы, решая с ними примеры и задачи, я изнемогал от скудости своих познаний. Однако внезапно меня осеняло. Это случилось в ту секунду, когда я и сам доходил до сути. И моя наивная радость узнавания приобретала магнетическую силу. Мои ученики превращались в моих сообщников. Быть может, запоздалый дикарь, додумавшийся до колеса, испытывал те же чувства.

Я калечил своих учеников напропалую, но они поступали в вузы, изумляя экзаменаторов необычностью методов рассуждения, граничивших с невежеством. Что касается меня самого, то каждую осень канцелярия медицинского института возвращала мои документы.

Путь к звездам высшего образования был открыт для меня. Следовало круто изменить графу моего социального положения. Отец определил меня подручным монтера в частную электротехническую мастерскую.

Теперь я стал рабочим.

Хозяин мастерской, нэпман, брал подряды в государственных учреждениях. Два мастера-электрика с двумя подручными выполняли эти подряды. Таким образом, из нас из четырех выкачивалась прибавочная стоимость. Вероятно, она была очень невелика,

ибо вся хозяйская мастерская помещалась в низкой, полутемной дворницкой. Вдоль стены стоял длинный, неопрятный верстак, по углам валялись ломанные люстры, бра и настольные лампы. Когда подряды иссякали, мы чинили этот хлам.

Хозяина я видел редко. Иногда он заходил в мастерскую, останавливался на пороге. Франтовато, не по возрасту одетый, в форменной инженерной фуражке, хотя никаким инженером он вовсе и не был, хозяин обводил свою мастерскую печальными выпуклыми глазами. Его толстое лицо отекало на белоснежный воротничок, как свеча. Никаких указаний он нам не делал — стоял, засунув руки в карманы просторных чесучовых брюк.

Я был у него однажды дома: хозяин послал меня с какой-то запиской к жене. Неряшливо полуодетая, красивая и грубо молодая, она распаривала мозоли, опустив маленькие крепкие ноги в таз. Лениво прочитав записку из моих рук, она сказала:

— От жлоб на мою голову!

Я подождал немного, но она больше ничего не добавила. Хозяин спросил у меня:

— Что она делала, когда ты пришел?

Я постеснялся сказать, что она мыла ноги.

— Читала, — ответил я.

— Что-нибудь передала мне?

— Привет, — ответил я. На большее у меня не хватило фантазии.

— Ты добрый мальчик, — сказал хозяин. И дал мне полтора миллиона на одно пирожное.

Прослужив у этого странного нэпмана год, я осенью, заполняя институтскую анкету, назвал себя рабочим. Меня вызвали в приемную комиссию.

— Подручный монтера, — громко, брезгливым голосом прочитал председатель комиссии. Он посмотрел на меня со сладострастием. — Это ты и есть подручный монтера?

— Я, — прошептал я.

— Тогда задаю наводящий вопрос: что такое курцшлюсс?

Я молчал. Мастер, с которым я работал, называл короткое замыкание — коротким замыканием. Мастер не употреблял слова «курцшлюсс». Но он был хороший мастер.

— Товарищи члены комиссии, — сказал председатель, — картина, по-моему, ясная: перед нами очередная липа. Есть предложение — вернуть хлопцу документы.

И мне снова вернули их.

С тех пор, с юношеских лет, я ненавижу свои документы. Я живу с ощущением, что в моих документах всегда что-то не в порядке.

Пятый угол

Чего-то в них всегда не хватает. И то, чего недостает, оказывается самым главным.

В ящиках моего письменного стола накопилось за долгие годы множество справок, удостоверений, пропусков и членских билетов. Если собрать все это воедино, запрограммировать и нанести на перфокарту, то будущая кибернетическая машина сочинила бы по этим данным не меня.

Я остался бы внутри машины, ослепленный ее бесчисленными импульсами.

Исторические события, да и просто факты, не окрашенные эмоциями, запоминаются неточно. Память чувства сильнее логической памяти.

В газетах — я это отчетливо помню — начала появляться фамилия Сталина. Мы не знали, кто это такой. Вот это чувство нашего недоумения я остро запомнил.

Не знали мы имени Сталина не потому, что были политически безграмотны. Просто этого имени не существовало рядом с Лениным. Рядом были совсем другие имена. Их было много.

Я бы даже сказал, что время было для нас безымянное. У времени была для нас одна фамилия — Советская власть.

И на наших же глазах у времени появился псевдоним — Сталин.

Может быть, потому, что я нигде не учился и никто не имел возможности с незрелых моих лет навязывать мне свою повелительную точку зрения на жизнь, быть может, именно поэтому у меня была свобода отбора и оценок. Мне никогда не приходилось сдавать на зачетах и экзаменах свои мысли об окружающей действительности, свое мировоззрение. А раз не приходилось сдавать, значит, эти мысли были мои, органически собственные. Я не ждал за них оценок по пятибалльной системе. Я имел право не понимать и ошибаться.

Были годы, когда людей моего типа принято было называть обывателями. Если обыватель в чем-нибудь сомневался, то ему презрительно указывали, что он пользуется трамвайными слухами, слухами из магазинных очередей. А между прочим, в трамваях и в очередях стоит народ.

У того, кого принято называть обывателем, сложное положение. Он всегда оказывается неправым. Даже тогда, когда он прав. Либо он судит о чем-нибудь слишком рано — это до соответствующего государственного постановления, — либо слишком поздно — это после постановления, когда считается, что вопрос исчерпан.

И только посмертно обыватель испытывает удовлетворение: историки переименовывают его в народ.

Масштабы фальсификаций с понятием «народ» необозримы. С тридцатых годов людей начали назначать в народ и исключать из народа. По существу же, титулом народа обладал один человек — Сталин..

Беда коснулась Миши Синькова — отец ушел в наркомат и не вернулся домой. Трое суток Миша был спокоен — мало ли чего случается на работе, — а на четвертые сутки отец объявился.

В ту ночь у Миши гостил Тосик Зунин. Вдвоем они сидели в трусах за обеденным столом, на котором в беспорядке лежала немытая посуда. Мальчики играли в шахматы.

В прихожей щелкнул замок.

— Батя! — закричал Миша.

Он бросился в прихожую навстречу отцу. В руках отца была связка ключей. Подле него стояли трое.

— Сейчас запалю самовар, — сказал Миша, — Штаны надевать, батя?

— Надень, — сказал отец. — Я арестован.

Он отпер ящики своего письменного стола, отдал ключи и сел в угол на стул, как чужой в этой квартире.

Мальчики надели брюки. Покуда шел недолгий обыск, они молча сидели на диване. Вещей в квартире было мало.

Один из оперов, очевидно старший среди троих, пошарив в полупустых ящиках письменного стола, присмотрелся к какой-то бумаге и протянул ее Синькову, не выпуская из своих рук.

— Почему держите секретные документы не в сейфе?

Синьков взглянул мельком на бумагу и ответил:

— Какой же это секрет? Это завещание Ленина.

— Немаленькие, — улыбнулся опер. — Понимаете, о чем речь. — Он вынул из ящика наган. — А оружие зачем не сдали?

— Дареное, — коротко и устало сказал Синьков.

Опер прочитал надпись на серебряной дощечке, приклепанной к рукоятке нагана. Там было вычеканено, что Реввоенсовет республики награждает Синькова личным оружием.

— Вот дощечку и держал бы дома, — сказал опер.

Это был еще совсем молодой опер, он еще только-только начал распознавать приторный, сладковато-солонватый вкус власти над человеком. Он еще опасался ошибок в своей работе, полагая по глупости, что в его работе могут быть ошибки. Он еще задумывался над тем, какие вопросы надо задавать арестованному. Он еще считал, что обороняет советскую власть от ее врагов.

Через десять лет, в 1936 году, этот же бывший опер, с ромбом в петлицах, допрашивал у себя в кабинете молодого профессора Харьковского университета Анатолия Зунина.

— Садитесь, Анатолий Рувимович, — сказал бывший опер, когда два конвойных ввели Тосика под руки. — Господи, во что они вас превратили!

И он строго посмотрел на конвойных. Два темных деревенских парня, живших впроголодь всю свою двадцатилетнюю жизнь, а нынче, в конвое, сытно, до икоты кормленных и чисто одетых; два бессовестно обманутых солдата, убежденных начальством в том, что тюрьма заполнена контрой и шпионской сволочью; два лба, натасканных в ненависти к человеку, ибо сегодня он — человек, а завтра — арестантское кодро; двое дисциплинированных конвойных хорошо знали правила игры. Когда начальник строго посмотрел на них, они привычно потупились и спросили хором:

— Разрешите идти?

И вышли из кабинета, отлично зная, что могут скоро сгодиться.

Того долгого времени, которое понадобилось конвойным для того, чтобы дойти от стола до порога, хватило бывшему оперу; когда они прикрыли за собой дверь кабинета, он уже знал, в чем ему следует обвинить гражданина Зунина.

Он не баловал арестованных разнообразием. Фантазия следователя имеет свои пределы.

Не было на карте мира ни одной страны, в пользу которой не шпионили бы его подследственные. И чем больше людей он сажал в тюрьму, тем легче ему было сажать следующих, ибо у каждого из посаженных была семья, были друзья, и уж одно то, что была семья и были друзья, служило поводом к последующему аресту. Однообразие работы даже утомляло его.

Он не был ни особенно жесток, ни либерален. Он делал свою работу изо дня в день, посильно соревнуясь со своими сослуживцами, и, гонимый этим соревнованием, уже не задумывался над тем, истинно ли виновен тот человек, который стоит, сидит или лежит перед ним.

Это была его работа, работа и работа — сделать так, чтобы человек как можно скорее признал себя виновным, ибо за отделом, в котором служил бывший опер, числилось еще много людей, которые тоже должны были признать себя виновными. И он искренно гневался, когда кто-нибудь из этих людей бессмысленно тормозил его работу, бессмысленно потому, что рано или поздно работа снова налаживалась, а значит, и не следовало ее тормозить.

Что касается идей, на страже которых он безмерно утомлялся, то ему уже не приходилось ду-

мать о них. Идеи были теорией, а он был практическим работником, и, как всякий практический работник, он не мог повседневно возбуждать себя высокими материями. Когда-то, в начале его службы, у него тоже была красивая идея, она постепенно сносилась и стала ему узковата в шагу. Он сшил вместо нее форму, покрыл свою голову малиновой фуражкой, обулся в легкие сапоги и пошел дальше налегке.

К способам, которыми он добивался признания, бывший опер привык относиться так же, как рабочий человек, мастеровой относится к набору своих инструментов. Столяр знает, в каком случае ему нужно взять в руки рубанок, в каком — ножовку, в каком — ручник. Бывший опер тоже знал.

И так же, как опытный столяр знает, что на разную породу дерева, для того чтобы довести ее до дела, требуются неодинаковые усилия, так и бывший опер различал породу людей, проходивших через его руки.

Искусство его заключалось в том, чтобы сделать их одинаковыми. С годами это становилось все проще. Искусство превращалось в ремесло. Он уже научился чисто ремесленными средствами добиваться в себе нужного для дела душевного состояния. И гнев его, и кажущееся милосердие — все было делом ремесла. Истинными же, неподдельными были у него только два чувства — презре-

ние и страх. Презрение к людям, которых он гнул и ломал на допросах, и страх за свою судьбу.

Он не мог не презирать арестованных. Изумление и ужас, которые он им внушал тем, что делал с ними, превращали их в такое ничтожество, низводили до такого состояния, когда человек уже теряет возможность быть личностью. Попадались бывшему оперу и крепкие орешки, но он их тоже презирал уже за то, что они попусту тратили свои силы: они оскорбляли его, а он не оскорблялся, они выкрикивали, вышептывали, выдыхали предсмертные слова, пустые и книжные для него, ибо за этими словами не было у этих людей надежного обеспечения в виде армии, войск его органов, военно-воздушного и морского флота, тюрем и лагерей, не было государства, которое стояло за его, бывшего опера, спиной. У этих крепких орешков не было даже стоящих единомышленников: из самых близких друзей их удавалось пускать такую юшку, что смотреть было тошно.

И, несмотря на все это, он испытывал страх.

Страшился он не того, что его ремесло перестанет быть необходимым. Опасался он не возмездия со стороны людей, которые ходили на свободе по улицам городов и деревень (были у него веские причины для презрения и к ним), обуревал его страх перед теми, кто работал рядом с ним и в особенности — над ним! Постоянное изнуряющее мозг

опасение, что рядом в кабинете кто-то из его товарищей сработает быстрее и сноровистей, нежели он, придумает что-то насущно необходимое, — это опасение мучило душу бывшего опера и заставляло его самого торопиться и совершенствовать темпы и методы своей работы.

Однако сильнее всего он боялся того, что происходило над ним. Именно оттуда ему грозила главная опасность. Предвидеть ее было невозможно. На его глазах, всегда внезапно, исчезали работники, которые начинали свой путь вместе с ним. Они исчезали медленно, слой за слоем, навсегда. Сперва те, кто помнил и знал то, чего уже не следовало помнить и знать, затем те, кто помнил и знал причины, по которым исчезали их предшественники, — и так, слой за слоем, оставляя после себя только грибницу, никогда не оскудевающую.

Эта постоянная угроза, витавшая над ним, изрядно отравляла ему жизнь. Страх отпускал его вернее всего, когда перед ним оказывался арестованный, ибо тогда бывший опер сам должен был излучать из себя страх.

В редкие свободные от работы часы он жил обычной жизнью: ходил с дочкой в ТЮЗ, в цирк и в зоопарк, дарил жене духи к Восьмому марта, играл в санаториях в «козла» и в волейбол, просматривал газеты.

Бликих друзей у него не было — уж он-то знал, чего стоили близкие друзья!

Изредка ему приходилось встречаться с сослуживцами за праздничным столом. Обычно это случалось уже после праздников, потому что в первомайские дни и седьмого ноября у всех у них было самое пекло работы. Закрывать проходные дворы, облазять канализационные люки, опечатать балконы, расставить своих людей по всему маршруту, по которому будет следовать на парад высшее начальство города; а потом, вечером, на торжественном заседании в городском театре и на праздничном концерте проследить за тем, чтобы за кулисы, в первые ряды балконов, партера и в ложи не попал ни один человек без специального пропуска, — на все эти праздничные хлопоты уходило много времени и сил, щедро оплачиваемых теми полуголодными людьми, которые никогда не видели ни этих парадов, ни торжественных заседаний, ни концертов.

Сослуживцы отмечали революционные даты по своему календарю, сдвинутому дня на два против общепринятого. Собирались они не очень большими компаниями, в примерно одинаковых чинах и званиях. Все было у них примерно одинаковое: мануфактура и покрой костюмов, мягкие шляпы и обувь, носки и нижнее белье, пошлые анекдоты и рано постаревшие, невежественные жены.

Пили они много и умело. О делах никогда за столом не разговаривали.

Все они были когда-то, давным-давно, рабочими парнями, крестьянскими хлопцами, недоучками-студентами, из многих могли бы получиться люди, но растленная и бесстыдная их жизнь, чудовищная работа, страх сделали с ними свое кропотливое дело; они перестали быть людьми и превратились в палачей.

Саша Белявский был среди нас аристократом. Он переехал с Рыбной на Сумскую — на главную улицу города. Она называлась теперь улицей Карла Либкнехта. Павловскую площадь переименовали в площадь Розы Люксембург. Для нас это было не будничным переименованием, а близкими зарницами мировой революции.

В квартире родителей Саше принадлежала отдельная комната с двумя коврами — над диваном и во весь пол. На собственном письменном столе у него лежал большой нож из слоновой кости. Сейчас такие ножи перевелись.

Это было очень шикарно, когда Саша клал на свое колено новенькую пухлую книгу без переплета, отпечатанную на толстой серой бумаге, с неразрезанными листами, и, вложив нож из слоновой кости между страницами, пилил им листы сперва

по горизонтали, а потом по вертикали. Бумажные опилки сыпались на его остро отутюженные брюки, он их аккуратно смахивал в подставленную ладонь. Когда мы потом читали эту книгу, нам казалось, что никто до нас ее не знал.

Родители Саши, прежде чем войти в его комнату, стучались. Саша выкрикивал:

— Антре!

Или:

— Плиз!

Он знал несколько языков — даже турецкий. На турецком языке в Харькове можно было разговаривать только с айсорами. Поэтому Сашины туфли всегда зловеще сияли и едва уловимый запах перwokлассной ваксы «Функ» реял вокруг него.

Свою мать он называл по имени — Любой. Это меня смущало. Его жизнь была так не похожа на мою, что я испытывал неловкость, попадая к нему в дом.

Сергей Павлович ходил дома в суконном халате, длинные поясные кисти свисали до колен. Ноги его были обуты в мягкие расшитые туфли. Черный дог, величиной с жеребенка, бродил по коврам, царственно распахивая лапой двери. С догом тоже беседовали по-английски.

Мне казалось, что в доме Саши Белявского есть что-то ненастоящее. Я считал, что все они немножко прикидываются: даже важность пса была для меня напускной. Я легко представлял себе, что,

когда в квартире Белявских нет посторонних, черный дог Рекс, отдыхая, превращается в дворнягу и жрет на кухне помои.

Вся наша компания бывала у Саши редко и неохотно. С нами были там вежливы и предупредительны, но что-то теснило нас в Сашином доме. То ли безупречный порядок и чистота, то ли Сергей Павлович, которого мы не понимали и стеснялись.

Он разговаривал с нами изнурительно-шутливо. Ему почему-то казалось, что больше всего на свете мы ценим иронию. И отношения его с Сашей были ненатурально ироничными. Может быть, оба они полагали, что эта утомительная интонация подчеркивает их равноправную, чисто мужскую дружбу.

Первое время я был восхищен этой вольностью обращения, но вскорости заметил, что, несмотря на незлобивость перебранок, в глазах Сергея Павловича, когда он посматривал на сына, мелькала какая-то странная, жалкая искательность. Она была необычной у этого рослого, красивого и самоуверенного адвоката. Не знал я тогда, насколько сложны отношения Саши с отцом.

Сергей Павлович жил вне дома широко и свободно. Женщины угорали от него. Но ему не везло — он всегда попадался. Опытный юрист влипал на пустяках. Возвращаясь вечерами домой,

перед тем как открыть дверь своей квартиры, он дотошно осматривал себя с макушки до каблуков, он убирал сытое и праздное выражение со своего лица, умело заменяя его усталым и озабоченным. Однако ничто ему не помогало. От него чадно пахло чужими духами, чужой пудрой, чужой, острой кулинарией ресторана.

В благополучном и элегантном доме Белявских было беспокойно. Я не догадывался об этом, но бывать там не любил.

Своих учеников мы с Сашей натаскивали в моем подвале. Они приходили к нам по объявлениям, которые я расклеивал на заборах.

«Два студента, — врал я, — готовят в вузы по всем предметам. Оплата по соглашению».

Учеников было не так уж много — пять—семь. Самым для них привлекательным в нашей педагогике была дешевизна: за уроки мы брали гроши.

Саша выглядел солидней, поэтому он и вел начальные переговоры с родителями абитуриентов. Он был отлично одет и хорошо воспитан. Меня же можно было показывать ученикам, когда их отступление становилось уже невозможным. Я ходил в обносках своего среднего брата, который до меня донашивал вещи нашего старшего брата.

У отца была стойкая мудрая формула — ею он отбивался от матери, когда она молила его купить мне обновку:

— А что, в этих штанах его не узнают?

И верно. Меня узнавали издалека. По живописности моей рванины.

Единственное, что приобреталось для меня индивидуально, это дешевые белые хлопчатобумажные носки. Мать пробовала возражать против их цвета, но отец был неумолим.

— Казенный раввин в Минске ходил в белых носках, — говорил отец. — А нашего босяка в них не узнают?

Заведено было у нас в семье, что хозяйство вел отец. Не знаю, с чего это пошло, но к тому времени, когда я начал понимать уклад жизни, в доме распоряжался отец. Он покупал даже платья матери. Он варил варенье и солил на зиму огурцы. Пек хлеб. Лудил и паял кастрюли. Чистил и смазывал свои револьверы.

За обеденным столом никто не смел садиться на отцовское место.

В последний раз отец ударил меня, когда мне было семнадцать лет.

Бить детей нельзя. Я это проходил. Но я видел столько необъяснимого в жизни, что насмерть запутался в выводах. Встречались мне семьи, где детей воспитывали по совершеннейшим педагогическим методам. Однако приходил срок, и из ребенка вырастал подлец. Я знал дома, где у подон-

ков-родителей появлялись на свет дети, которыми могло бы гордиться человечество.

Загадочность эта, мне кажется, никогда не будет объяснена.

Условия, в которых я рос, мало соответствовали тому, о чем пишут в книгах по детской педагогике. И не потому, что они лживы. Есть в этих книгах один общий недостаток: в них не учитывается неповторимость личности воспитателя.

Для того чтобы растить детей, скажем, методами Макаренко, надо быть Антоном Семеновичем. Способ духовного воздействия на человека не может быть отторгнут от личности воспитателя. Метод должен быть внутри него, внутренне присущ именно ему. Обучить этому нельзя. И повторить то, что делал Макаренко, тоже нельзя. В лучшем случае можно скопировать. Копия будет больше или меньше похожа на оригинал, но живой она не станет. Успех мог бы быть достигнут, если бы каждый воспитатель сумел сыграть самого Макаренко. А это невозможно.

Всякая мать растит характер ребенка своим самодельным способом. Во всю силу своей неповторимой личности.

Вот и пришло твое время, мама. Пусть люди узнают, какая ты была у меня хорошая. Когда ты умерла, я перестал пугаться телеграмм и ночных телефонных звонков: я стал одиноким, мама, —

Пятый угол

твоя смерть отняла у меня беспокойство за твою судьбу. Из трех твоих сыновей ты всегда любила крепче всего того, кому было хуже всех. И мы всегда стояли в очередь к тебе, потому что кому-нибудь из нас непременно бывало плохо. Вспоминая мать, люди опрокидываются в свое детство. У меня не так. Я люблю тебя любовью взрослого сына. Я помню твое лицо, когда ты открывала мне дверь. Никто в мире не открывал мне дверь с таким счастливым лицом. Я стучался с улицы к тебе в окошко. У дверей приходилось повременить — ты шла из комнаты, трудно опираясь на палку. Лучше мне не вспоминать едкий запах сырости в твоей квартире. Будь она трижды проклята, эта квартира, в которой соседка-дворничиха в 49-м году крестила тебя жидовской мордой. Ты запретила нам вступаться за тебя. Ты боялась за нас. И мы не вступались, ибо боялись за тебя. У тебя хватило сердца подкармливать соседкиного сына, когда он вышел из тюрьмы. Его судили за групповое ограбление, но ты говорила нам, что он хороший мальчик. И он действительно оказался хорошим мальчиком. Соседка рыдала на твоих похоронах. Можно сойти с ума, мама, от сложностей жизни! Чем больше я живу на свете, тем сильнее увязаю в них. Единственное спасение, которому ты же меня и научила, это — не переставать удивляться

тому, что происходит вокруг. До тех пор, покуда я изумляюсь, я, быть может, остаюсь человеком. В людской мерзости самое страшное не мерзость, а привычка окружающих к ней.

Никому больше не интересно слушать меня, мама. Женщины, слушавшие меня с интересом, делали это и с другими. Друзья нынче озабоченные: они и сами ищут человека, который мог бы постичь их печаль. А для тебя я был единственный. Спасибо тебе за то, что ты меня не воспитывала. Ты просто была, и этого мне хватит на всю мою жизнь.

* * *

В семнадцать лет я ослеп и оглох от любви. Мне и сейчас трудно представить себе, что я от нее освободился. В этом ознобе меня трепало пятнадцать лет кряду, вплоть до 41-го года. Время омывало меня весь этот срок, мне казалось, что я стою в нем по щиколотки.

Точные ощущения сильной любви невозможно восстановить в памяти, как невозможно запомнить взрыв, чувство полета во сне, высокую температуру.

Что бы я ни делал за эти пятнадцать лет, я делал либо для нее, либо против нее. Я потерял возмож-

ность совершать нейтральные поступки. Любовь стала моей профессией.

С Катей Головановой мы познакомились по объявлению. В объявлении был указан адрес Белявского, но Саши не было дома в положенные часы, и Катя внезапно появилась у меня на Черноглазовской.

На мое горе, она вошла в нашу квартиру не вовремя: в гостях у нас сидел Воробейник. Его безумие наплывало на него волнами. И сейчас он был на гребне своего сумасшествия. Обычно спокойный и деликатный, он нервно слонялся в своих потертых кальсонах по нашей столовой, завязки волочились за ним по полу.

В подвале было сумеречно, и Катя не сразу разглядела его жалкую внешность.

Таких красивых девушек я еще не встречал.

Воробейчик пошел прямо на нее, протянул ей свою липкую, немытую руку и отрывисто представился:

— Родзянко.

Она вежливо ответила:

— Катя Голованова.

Я дотлевал от ужаса в углу на диване.

— Позвольте в краткой и беспристрастной диссертации, — Воробейчик начал свою лучшую бредовую речь, — изложить вам дух и направ-

ление современной идеализации. Пауперизм, происшедший...

— Соломон Нахманович, — прервал я его, — члены Учредительного собрания просят сделать перерыв на молитву.

Эта фраза была для него священной. Он отошел к восточной стене и, покрыв голову одной рукой, стал бормотать слова субботней молитвы.

Теперь я мог подняться с дивана и подойти к Кате. Меня разозлило, что она стала свидетельницей моего позора. Узнав, что ей нужны два студента согласно объявлению, я грубо сказал:

— Это вранье.

Она порылась в кармане своего пиджачка и вынула бумажку.

— Вот адрес. Кажется, я списала правильно.

— Адрес правильный, — сказал я. — А в объявлении — вранье. Я не студент.

— Но вы даете уроки? — вежливо спросила Катя.

— Даю.

— Мне нужен учитель физики. У меня задолженность по этому предмету. — Она протянула мне руку. — Меня зовут Катя. Можно я сяду?

Она села, а я стоял перед ней в белых носках. Воробейчик молился на восток, то повышая голос до крика, то лопоча страстным шепотом.

— Он больной? — тихо спросила Катя.

— Немножко, — ответил я.

— Вы не волнуйтесь, — сказала Катя. — Мой отец врач. Я привыкла. Правда, папа бактериолог, но у нас дома бывают всякие доктора. Вам нравится медицина?

— Не очень.

— Пожалуйста, не отказывайте мне, — сказала Катя. — Я буду внимательной ученицей. Если вы мне откажете, мама найдет какого-нибудь старого кретина, и я возненавижу физику навсегда.

— Где вы учитесь?

— На медицинском. На первом курсе.

Я не имел права брать этот урок. Задолженность Кати по физике намного превышала мои знания. Узнав, что это меня смущает, она упрямо мотнула головой:

— Глупости. Все равно вы знаете больше, чем я. И потом, есть же книги.

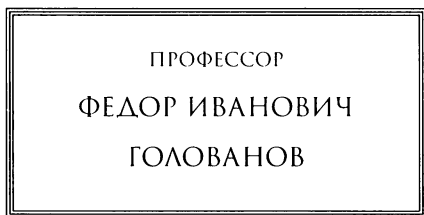
Она оставила мне свой адрес.

Назавтра я пошел к ней в первый раз.

Катя жила в здании Харьковского медицинского общества. Подымаясь в ее квартиру, я затерялся на широкой парадной лестнице. Толстые стенные зеркала повторяли мое изображение: справа и слева от меня нахально подымался по мраморным ступеням худой, лопоухий юноша, в латаной толстовке до колен. Мне боязно было смотреть на него. Но я был горд тем, что его занесло на эту лестницу.

Служебный день в здании кончился, просторные гулкие коридоры запутали меня. Резкий тошнотворный запах бил в нос: здесь готовили сыворотку для всей Украины. Из-за высоких, как ворота, дверей доносились порой странные пронзительные крики и писк: это кричали обезьяны и жаловались на свою судьбу морские свинки.

Я набрел наконец на дверь с медной дощечкой:



Катина мать встретила меня нелюбезно — я не мог ей понравиться. И не потому, что на мне были обноски, — я вопиюще не соответствовал вкусам жены петербургского профессора. Страдая от того, что Федор Иванович ушел из Военно-медицинской академии и принял пост директора Харьковского санбакинститута, Анна Гавриловна чувствовала себя в нашем городе униженной.

Ей не нравилось все: и речушка Лопань вместо державной Невы, и хохлацкое произношение, и щербатый булыжник вместо торцов Невского проспекта, и ужасающая купецкая архитектура вза-

мен Растрелли, Росси и Воронихина. Вдобавок ко всему этому — еврейский мальчишка-репетитор, которого привела в дом ее сумасбродная дочь.

Анна Гавриловна не стала со мной церемониться. Она сразу дала мне понять, что я — ничтожество. Выяснилось, под ее леденящим взглядом, что я не умею стоять, сидеть и передвигаться по комнате. Я громко пил чай. Я держал за столом вилку, как убийца. Я делал ударения, от которых Анну Гавриловну пошатывало. К чести ее надо сказать, она не скрывала своего отвращения ко мне. Она даже долго не могла выговорить мое длинное имя — Боря — и вместо этого называла меня коротко — молодой человек.

Странно — я не обижался на нее. Недоброжелательство, выраженное в такой открытой форме, забавляло меня. Злилась — Катя. Когда Анна Гавриловна особенно цепко впивалась в мой загривок, Катя кричала:

— Прекрати! Сию же минуту прекрати!

Наши занятия по физике шли успешно. Институтская программа нередко ставила меня в тупик, но вдвоем мы легко одолевали мое невежество. Деньги, которые Анна Гавриловна с оскорбительной церемонностью вручала мне за урок, мы с Катей прогуливали. Мне было неприятно получать плату за счастье общения с Катей. Я хотел отказаться от денег, но она возмутилась:

— Вы сошли с ума! Это ваша работа! Почему вы должны делать ее бесплатно?

Не помню, когда я впервые объяснился ей в любви. За пятнадцать лет я делал это столько раз, что все мои объяснения слились в одно.

Это было и на холмах Технологического сада — весь город темнел внизу в сумерках, — и, когда я произнес свои слова, вспыхнул у наших ног Харьков, словно я подпалил его силой своего чувства. Это было и на площади Розы Люксембург, и на улице Карла Либкнехта, в вонючих горбатых переулках, в подворотнях и парадных подъездах, в битком набитых трамваях, на подножках пригородных поездов. Это было в зиму, в осень, в лето, весной. В солнце, в мороз, в слякоть. Это было и в тот день, когда она вышла замуж за Болеслава Тышкевича — старшего оперуполномоченного ОГПУ. И в тот день, когда она с ним разошлась. И в ту минуту, когда я узнал, что у нее второй муж. И тогда, когда я женился. И всегда, когда мы лежали с ней в постели.

Из всех человеческих чувств, пожалуй, труднее всего анализировать любовь. Разложенная на свои мельчайшие частицы, она мертвеет. Расчлененная, она не складывается воедино.

Мне потому и трудно рассказать о Кате, что свойства ее характера не дадут представления о том чуде, которое она собой являла для меня. Это

Пятый угол

не значит, что я ее сочинял. Я даже не был пристрастен к ней: когда мне указывали на ее пороки, я их не отрицал. Я только упрямо твердил:

— Все равно, вы ее не знаете.

Вероятно, я имел в виду, что любимая женщина состоит не только из черт своего характера. Между этими чертами есть какие-то неисследованные миры, видимые только влюбленному.

Так я и жил, словно идя по безнадежно длинному туннелю, в конце которого светилась Катя. И когда эта жизнь стала мне невозможна, я переехал в Ленинград. Шел тысяча девятьсот двадцать девятый год от Рождества Христова и двадцатый год со дня моего рождения.

Мама уложила в мой чемодан две простыни, три смены белья, пару брюк и одну стираную толстовку.

Накануне своего отъезда я пришел к Кате. Она не знала, что я уезжаю. Это известие я берег до последней секунды, нисколько не надеясь, что оно хоть как-нибудь изменит мою судьбу. Да и на что я мог рассчитывать? Мне только хотелось увидеть ужас в Катиных глазах, когда она услышит, что завтра меня здесь не будет.

Мы вышли из ее дома и пошли, как всегда, бесцельно, не разбирая дороги.

...Через тридцать лет я приехал в Харьков без всякого дела. Обычно свидание со своей юностью трогательно. Дома и дворы кажутся меньше. Все видится иначе, нежели прежде.

Со мной этого не произошло.

Бродя по городу, я пытался вызвать, как духов, давние воспоминания. Но улицы и дома были немы со мной. Даже запахи и звуки — эти стойкие вехи человеческой памяти — утратили свою мощь.

Я ходил по рядовому областному центру — столица моей биографии исчезла. Быть может, это объясняется тем, что меня к тому времени завалило обломками. Мне было не выбраться из-под них навстречу прошлому. Оказалось, что я не повзрослел, не вырос, не постарел — я был иной. Моя юность оказалась некомплектной, она принадлежала кому-то другому. Мне кажется, что многие нынешние старики испытывают то же чувство. Их жизнь так же некомплектна. Брюки не подходят к пиджаку — они разного цвета и фасона.

Мы ходили с Катей допоздна, и, только прощаясь, у порога ее дома, я сказал:

— Завтра я уезжаю в Ленинград.

— Зачем? — спросила Катя.

— Да просто так.

— А когда вы вернетесь?

— Никогда.

— Не говорите чепухи, — сказала Катя. — Вы не можете уехать.

— Тем не менее, — сказал я.

— Вы не смеете бросать меня. Я без вас пропаду.

— Вот уж нет, — сказал я. — Нисколько не пропадете.

— А еще ввали, что любите меня.

— Ни капельки.

— Что ни капельки?

— Ни капельки я не врал.

Она заплакала:

— Если завтра вы уедете, я сделаю что-нибудь ужасное.

Я был счастлив, что она плачет. Вероятно, это было заметно по моему лицу.

— Вы бесчувственная скотина, — сказала Катя. — У меня никого нет ближе вас.

Я уехал на другой день, послав ей с вокзала прощальную телеграмму. Когда телеграфистка считала слова, я встал перед окошком так, чтобы не было видно моего лица.

— Вы не ошиблись? — спросила телеграфистка. — Тут есть повторения. Можно сократить.

— Не надо, — сказал я.

Это случалось со мной постоянно: связисты всегда испытывали желание отредактировать

мои телеграммы к Кате. Они были правы: то, что я писал ей, надолго выбивало их из рабочего состояния.

Я непременно приеду к вам в Самарканд, дорогая Зинаида Борисовна, еще раз спасибо за приглашение. Письмо от Сергея Павловича я получил и тотчас ответил ему. Он пишет мне, что переслал вам фронтовые дневники Саши. Пожалуйста, сохраните их у себя до моего приезда.

Что касается вашей просьбы, Зинаида Борисовна, то винюсь: я не в силах ее выполнить. Если бы это необходимо было для вас, то, конечно же, я написал бы всем тем приятелям моего детства, которых вы перечислили в своем последнем письме. Но, насколько я понял, вы считаете, что это необходимо для меня. А я не ощущаю этой необходимости.

Мне поздно заводить новые дружбы и возобновлять старые. В том и в другом случае я вынужден распахиваться заново и заново же оценивать то, что раскроется мне. В моем возрасте лепишься к друзьям, которые уже знают, как я поступлю и что подумаю. Людей дряхлят разочарования.

Нет, Зинаида Борисовна, прерванная юношеская дружба редко склеивается наново. Даже реже, по-моему, нежели складывается новая. Хотя бы по-

тому, что от прежней дружбы всегда ждешь больше, чем она в силах дать.

В прошлом году я ездил в Ростов. Институтская аудитория, в которой я читал свою лекцию, была полупуста. Донская июльская жара загнала в прохладное здание случайных людей. Моя лекция, по-видимому, мало их интересовала. Настроение слушателей передалось и мне — я поспешно и вяло закруглился. Вопросов ко мне не было.

Однако, направившись к выходу, я увидел, что в дверях меня ждет какая-то старуха. Когда я поравнялся с ней, она тихо спросила:

— Вы из Харькова?

Плохо соображая от жары и усталости, я ответил:

— Из Ленинграда.

Она посмотрела на меня, смущенно и печально улыбаясь. Улыбку я узнал. Так умела улыбаться только Валя Снегирева, моя бывшая жена, когда я ей врал. Мы прожили с ней неполный год, почти сорок лет назад.

Сейчас передо мной в дверях стояла бесформенная старая женщина с авоськой в руках. И я понимал, что перед ней стоит вспотевший от усталости, поношенный старик. Чувство вины, которое я всегда по отношению к ней испытывал, вонзилось в меня тотчас. Я схватил ее за руку и стал бессвяз-

но лепетать. Я сказал ей, что она ни капельки не изменилась.

— Ты опять оправдываешься, — рассмеялась Валя.

Мы вышли на раскаленный добела бульвар. Даже голубое небо выгорело от жары.

— Отведи меня к себе попить чаю, — попросил я.

— Не могу, — сказала Валя. — Муж сегодня взял отгул, он выходной.

Увидев мое удивленное лицо, она робко добавила:

— Он не может слышать твоего имени.

— Валечка, — сказал я. — Валюша. Прошло сорок лет.

— Ну и что, — сказала Валя. — Я слишком много рассказывала о тебе.

Боже ты мой, что можно было рассказывать обо мне! В двадцать два года я женился на ней походя. Она это знала. Мы прожили вместе десять месяцев, и каждый день этого срока был для нее мукой. С фанатической жестокостью я пытал ее своей любовью к Кате. Мне почему-то казалось, что так честнее. Я слишком поздно заметил, чего это ей стоит.

Сейчас нас выбросило на ростовский бульвар, под акации. Притихшие пенсионеры доживали рядом на скамьях. Они безучастно посматривали на нас, мы — на них, не в силах представить себе, ка-

кие страсти сшибались у каждого из нас за спиной. И по аллеям бродили молодые люди, о которых мы небрежно и презрительно думали, что судьба их проще и легче.

— Как же ты жила? — спросил я Валю.

— Жила, — сказала Валя. — Должно рассказывать.

— У тебя есть дети?

— Двое. Оба женаты. Они тоже знают о тебе.

— И тоже не могут слышать моего имени?

— Нет, — сказала Валя. — Им было бы интересно с тобой познакомиться. — Она виновато улыбнулась. — Они ведь не представляют себе, что их мать могла любить кого-нибудь, кроме их отца.

— А если б увидели меня, то представили бы?

Она кивнула, не раздумывая.

— Ты же мое калечество, — сказала Валя.

Я сошелся с ней пьяный, на вечеринке, приехав к родителям в отпуск в Харьков. Замыканный ссорами с Катей, я старался заткнуть ту рану, из которой хлестала моя любовь. Мне казалось, что надо заткнуть ее на скорую руку, как попало. Тут же, под утро, я объявил своим товарищам, что женюсь на Вале. Тосик Зунин отвел меня в сторону и сказал извиняющимся голосом:

— По-моему, ты сволочь.

— От талмудиста слышу, — сказал я. — Она все знает.

Он поднялся на цыпочки, взял меня своими слабыми руками за плечи и придвинул к себе:

— Зачем ты это делаешь?

— Я хочу начать новую жизнь, Тосик. Имею я право?

— Оботрись, — сказал Тосик брезгливо. — У тебя вся морда в помаде.

Узнав, что я собираюсь жениться, моя мать пригласила Валю к обеду. Отец был в отъезде. Братья два года назад уехали в Ленинград. На обед было приготовлено самое вкусное блюдо — начиненные мукой и жиром коровьи кишки. Мы сидели за просторным столом втроем, мать подкладывала в Валину тарелку самые румяные куски.

— Слава богу, удачно получилось, — сказала мама. — На Благбазе они не всегда бывают. — Она посмотрела на меня. — А теперь ты принесешь из колонки ведро воды, а мы вдвоем немножко поговорим.

Задержавшись в кухне, я услышал, как она ласково обратилась к моей невесте:

— Послушайте меня, Валечка, не надо выходить за него замуж. Я знаю своего сына — он вас бросит.

— Разве он плохой? — спросила Валя.

— Он очень хороший, — сказала мама. — Но с ним целая трагедия. Мне неловко выдавать его тайну...

Пятый угол

— Я знаю, — сказала Валя. — Это все уже в прошлом.

— Он сам вам так говорил?

— Нет, он не говорил, но я чувствую...

— А где твоя мама? — спросила меня Валя на ростовском бульваре.

— Умерла.

В Ленинграде я поселился в Саперном переулке, в квартире отставного журналиста из санкт-петербургских «Биржевых ведомостей».

Сдавая мне темную комнату прислуги рядом с кухней, он прежде всего пригласил меня в уборную и показал, как надо спускать воду в унитаз.

— Прошу вас повторить при мне, — сказал хозяин.

Его усатая жена предупредила меня, что я не должен пользоваться парадным ходом и ванной.

— Это не значит, — сказала она, — что вам не следует ходить в баню.

В квартире было тихо, как в погребе. Из хозяйских комнат не доносилось ни звука. Обутые в войлочные туфли, супруги бесшумно бродили по квартире, неотвратно появляясь за моей спиной.

Я зажигал свет в кухне — они его гасили.

Я открывал кран над раковиной — они его закрывали.

Я разжигал примус — они его укрощали.

Перед сном до меня доносился скрежет запоров, звяканье цепей и разноголосое щелканье замков. На ночь хозяева закрывались внутри квартиры и от меня. Мне казалось, им не скучно в этом лютом одиночестве: подозрительность и недоверие к людям отнимают у человека много времени и сил. Конвоируемый этими чувствами, он занят круглые сутки. Доверчивому человеку хуже: одиночество непереносимо для него.

В первые три месяца я не видел Ленинграда.

Разложив в пустых папиросных коробках деньги, привезенные из дому, я судорожно готовился к экзаменам в институт. Всю свою жалкую наличность я разменял в магазинах на девяносто равных порций — по рублю в день. Аккуратно сложенные, они соблазняли меня донельзя. И чтобы выстоять, я ограничил свои прогулки тоскливыми маршрутами: скучная, как труба, Бассейная улица, обрубки переулков рядом с моим Саперным, безликая Знаменская — вот все, что я себе позволял.

Документы были поданы во 2-й медицинский.

На этот раз мое постыдное социальное происхождение не сыграло роковой для меня роли. Я срезался на первом же экзамене по литературе. «Железный поток» Серафимовича — тема, достав-

шаяся мне по билету, сгубила меня. Я написал, что это скучный, плохой роман, в котором нет ни одного запоминающегося героя. Расцарапанный собственным свободомыслием, я наивно трепал своими молочными зубами произведение, считавшееся в те годы классическим. Тройка, поставленная за это сочинение, не позволила мне набрать проходной балл, установленный для моей категории.

Легкомыслие юности благословенно — оно порождает бесстрашные поступки, о которых потом принято говорить, что они закономерны. И в них действительно есть святая закономерность легкомыслия.

Мои деньги были на излете. В последней папиросной коробке лежали восемь рублевых бумажек — восемь дней жизни. Разменяв их в ларьках на мелочь и уложив ее столбиками по пятьдесят копеек, я удвоил свой капитал.

Мысль о возвращении домой, в Харьков, даже не приходила мне в голову. Я был в том состоянии непоколебимого физиологического безрассудства, которое повергает в ярость пожилых людей.

— На что вы рассчитываете? — спрашивает старик у юноши.

Юноша не может ответить, ибо он ни на что не рассчитывает и одновременно рассчитывает на все. На то, что он найдет на улице бумажник.

На то, что внезапно распахнется дверь его комнаты, войдет запыхавшийся человек и скажет: у нас есть для вас прекрасная работа, убедительная просьба не отказываться. В расчеты юноши входят утреннее солнце, полдень, вечер, ночь. И личное бессмертие.

Забрав документы из института, я почувствовал облегчение. Четыре года подряд я делал все, что мог. С меня хватит, сказал я себе. Живут же люди и без высшего образования!

Теперь у меня оказалась пропасть свободного времени. Можно было наконец осмотреть Ленинград. Мне много раз говорили, что осмотр надо начинать с вышки Исаакиевского собора.

Взобравшись на вышку, я не думал, как Растиньяк над Парижем, что подо мной лежит город, который я должен покорить. Найдется же, думал я, в этой равнодушной панораме крохотное местечко и для меня. Не может не найтись!

— Давай поговорим, — волнуясь, сказал я ему. — Ты меня не узнаешь?

— Вы на кого-то похожи, — ответил он, небрежно взглядываясь в меня.

— Посмотри внимательней.

— Голос мне кажется знакомым, — сказал он. — Где-то я уже слышал его.

— А лицо?

— Не могу припомнить.

— Ладно. Черт с ним. Наверное, я сильно изменился. Ты видишь этот шрам на нижней скуле?

— Вижу.

— У тебя такой же.

— Бывает, — сказал он.

— Откуда у тебя этот шрам? погоди. Я сам скажу. Когда тебе было четыре года, ты простудил желёзку, объевшись на Рыбной улице, в лавочке Яроцкого, мороженым. Твой отец...

— Вы знали моих родителей? — быстро спросил он.

— Я был их сыном.

— Да ну вас, — сказал он. — У меня никогда не было третьего брата.

— И у меня.

— В общем, так, — сказал он нетерпеливо. — Вам что-нибудь от меня нужно?

— Нужно.

— Что именно?

— Поговори со мной. Мне надо понять, кто ты такой. Я знаю о тебе все, но не все понимаю. Ведь я же могу быть полезен тебе.

— Если вы имеете в виду советы, то мне их хватает.

— Пойми, я знаю, чем все кончится!

— В каком смысле? — лениво спросил он.

— Я знаю, через что тебе придется пройти. Ты содрогнешься, если я тебе расскажу.

Он улыбнулся:

— Все старики почему-то любят пугать молодых людей. Еще скажите, что я пришел на готовенькое и что в ваше время было лучше.

— Мое время — это твое время! — отчаянным голосом сказал я ему. — Поверь, пожалуйста, в чудо: я — это ты!

Впервые он посмотрел на меня внимательно:

— Сколько вам лет?

— Шестьдесят.

— Неплохо, — сказал он. — Значит, впереди у меня целых сорок лет.

— Дурак! — крикнул я. — Ты не успеешь оглянуться, как они пролетят.

— Вот это уже пошлость, — сказал он. — И я бы не хотел даже в шестьдесят лет произносить подобные штучки.

— Ты прав, — сказал я. — Извини меня... Это ужасно, что мы не можем с тобой договориться. Неужели тебя не волнует твое будущее?

— Можно задать вам один вопрос? — спросил он.

Я кивнул.

— Вы женаты?

— Да.

— На Кате?

— Нет.

Он потерял ко мне всякий интерес.

— И это все? — изумился я. — Ведь нас разделяют четыре десятилетия! Спроси что-нибудь еще.

Я отчетливо видел, что надоел ему. Я знал, что он торопится во Владимирский клуб, где должен был, впервые в жизни, поставить в рулетку «на красное» свои последние три рубля.

— Мы полетим на Луну? — из вежливости спросил он.

— Полетим... Но до этого будет война!

Господи, до чего же все плоско получалось у меня.

— И мы ее выиграем, — уверенно сказал он.

Мне было мерзко смотреть на него. Сопляк с семиклассным образованием, бездельник, не умеющий заработать себе на хлеб, половой психопат, не видящий ничего вокруг, кроме своей девки, которая плевала на него...

— Иди, — сказал я ему. — Иди, харьковский босяк. Ты еще умоешься кровавыми слезами!..

И он ушел.

Как пишут сейчас в газетах, большого разговора у нас не получилось.

Я жил всухомятку, доедая посылку, присланную родителями. Мои объявления давно висели на специальных досках, в окружении таких же голодных репетиторских воплей.

Последние три рубля я просадил во Владимирском клубе — в игорном доме растратчиков и нэпманов. Это произошло с такой волшебной быстротой, что я даже не успел ощутить горечь проигрыша.

Крупье прохрипел: «Можно ставить, есть прием», я воровато, из-за чужих тел, просунул три рублевые бумажки на край стола, услышал в полной тишине, пропитанной духами, потом и тревогой, какое-то жужжание — и все было кончено.

Мне не удалось даже увидеть лиц игроков: густой частокол их спин и затылков заслонял от меня стол, и по этому частоколу, через равные промежутки времени, пробегала судорога волнения.

Поднявшись на цыпочки, я рассмотрел на прощание плавающий в папиросном дыму эмалированный прибор крупье. Он сидел на возвышении. В большой комнате было полутемно, и только голову этого афериста окружал электрический нимб святого.

Зал рулетки помещался в конце клуба. Идя к выходу, я прошел сквозь несколько комнат, таких же душных и затемненных. Освещены были лишь длинные столы, покрытые зеленым сукном. Здесь играли в коммерческие игры — в баккара и шмендефёр. Незнакомые друг другу люди — мужчины и женщины — сидели в креслах вокруг стола. Играли они молча, как призраки. Ощущение не-

Пятый угол

реальности того, что здесь происходило, сохранилось у меня до сих пор. Я и сам себе казался недостоверным в тот вечер.

Денег на трамвай у меня не осталось. Я шел по Невскому, с угла Владимирского к Московскому вокзалу. Оттого что я вышел из игорного дома, Невский предстал передо мной в ином свете — в мареве страстей и порока.

У дверей ресторанов дежурили на облучках лихачи-извозчики. Их литые жеребцы, покрытые голубыми сетками, сучили нервными ногами.

Проститутки, которых я раньше не слишком замечал, заговаривали со мной, словно догадываясь, что игроку они могут понадобиться. Они прохаживались на углах и у освещенных витрин магазинов, одетые в свой боевой наряд и раскрашенные, как индейцы. Чем ближе я подходил к Московскому вокзалу, тем рванее и наглее они выглядели. У Пушкинской, неподалеку от бань, это были уже немолодые потаскухи с красными мордами, от них за версту воняло водкой, табаком и банными вениками.

Весь Невский, казалось мне в тот вечер, проигрывал, продавался и покупал.

Утром я пошел на биржу труда.

Я бывал уже здесь не раз, но всегда уходил в тоске: толпа разливалась у входа. Зал биржи был перегорожен клетушками, там сидели служащие.

Безработные гудели в очередях. Хвосты этих очередей, утолщаясь, вплетались в беспорядочное месиво на Кронверкском.

В то утро я был полон решимости. Сперва надо было встать на учет у окошка. Именно это мне никак не удавалось сделать. Я не знал, кто же я такой. Каждое окошко ведало определенной профессией. Я считал себя работником умственного труда, но на руках у меня была всего одна бумажка, удостоверяющая, что я действительно когда-то родился и продолжаю существовать.

Тут же в зале мне пришлось внутренне перекаленичиться. На мое счастье, в этот день пришло требование с Никольского рынка: аптекарский склад, расположенный на рынке, запрашивал чернорабочих.

С месяц я таскал мешки на этом складе — из подвала их надо было нести по зыбкой доске, круто поднятой через люк, во второй этаж. Я не знал, чем наполнены эти проклятые мешки, но они были огромного размера и от них смердело лекарствами.

Нанюхавшись за день, я не мог есть. Обесиленный постом, я не мог их таскать по доске. Получался замкнутый круг: для того чтобы жить, я должен был работать на этом складе. Работая на складе, я не мог жить.

Взбираться по крутой, колеблющейся доске с огромным мешком на спине становилось все

труднее. Последние два-три шага были особенно невыносимы.

Груз раздавливал меня.

Я останавливался замертво.

Зеленые и красные звезды вспыхивали у моих глаз.

— Задумался, интеллигент! — беззлобно кричал мне снизу кладовщик.

И тогда я вспоминал Катю.

Она возникала передо мной в горловине люка.

— Вы всё можете, — говорила она мне. — Я вас жду наверху.

На подгибающихся ногах я шел к ней.

Религия моей любви к ней не раз выручала меня.

— Вы всё можете, — слышался ее голос, когда я уже ничего не мог.

— Вы ничего не боитесь, — говорила Катя, если я бывал перепуган насмерть.

— Я люблю вас, — доносился до меня ее шепот в то мгновение, когда над моей головой смыкалось одиночество.

Почему мы вспоминаем трудную для себя юность нежнее и ярче, нежели беспечную? Может быть, потому, что у нас хватило силы не пасть духом?..

Встать на ноги мне помогло мелкое мошенничество. Брат сжалился надо мной и дал мне свою справку для биржи труда. У нас были с ним одинаковые «венициалы», как выражалась учетчица биржи. Согласно этой справке податель сего значился учителем математики на краткосрочных курсах усовершенствования поваров. Курсы окончили свое существование, я имел право встать на трудовой учет.

Подумать только, от какой мелкой случайности зависела моя жизнь!

Вспоминая свое дальнейшее прошлое, сложнее всего восстанавливать в памяти не факты — они набегают произвольно; мучительно уточняются мысли того времени, свое тогдашнее отношение к окружающей действительности.

Труднее всего, вспоминая молодость, обтереть свои ноги у ее порога, войти в нее голым от сегодняшнего опыта и нынешних мыслей.

Когда, надрываясь, я делаю над собой это нечеловеческое усилие, то моим глазам открывается мир, в котором отсутствует закон тяготения. Тому голому юноше, на той дальней планете, ходить было легко, как полубогу: он делал мимолетное движение и тотчас отрывался от земли. Он ступал по земле веселыми ногами. Решения, от которых,

Пятый угол

быть может, зависела его дальнейшая судьба, он принимал мгновенно, не раздумывая.

Если что-нибудь оказывалось ему непонятным, он считал это несуществующим.

Непогрешимость его суждений вырубала перед ним просеку, гладкую, как взлетная полоса.

Я не знаю, в какой степени этот юноша характерен для того времени. Да и так ли уж важно знать это?

О чем я думал в те годы? Чем жил?

Сопричастностью ко всему, что делается в мире. Для моей юности не существовало расстояний. Все, что волновало меня, происходило рядом.

Рядом бастовали горняки Англии, за стеной простиралась Гренада, за углом строили Магнитку и Днепрогэс, под моими окнами бродили Маяковский и Бабель, Пастернак и Багрицкий.

В моей юности не было игр. Футбол и хоккей еще не изобрели для нас. Даже шахмат не было в нашем мире.

Собираясь, мы ни во что не играли. Мы разговаривали.

Я вмешивался в ход событий и в судьбы людей. Все, что делалось вокруг, зависело и от меня. Мировые проблемы жаждали моего участия. Я был щедр — меня хватало на земной шар.

Мои суждения обладали одной сказочной основой: люди хотят справедливости и ненавидят, ког-

да их угнетают. Человеческая подлость была для меня категорией классовой.

Я верил в то, что говорил. И говорил то, во что верил.

* * *

На этот раз отдел работников умственного труда биржи направил меня учителем в школу ФЗУ. Школа помещалась в Александро-Невской лавре, в здании, где прежде жили монахи.

Дважды в день мне приходилось шагать вдоль знаменитого кладбища, мимо могил.

Я не испытывал при этом никакого трепета.

Все, что касалось старого уклада жизни и смерти, представлялось мне канувшим в учебники. Я жил в торопливом и голодном любопытстве к завтрашнему дню: вечером зачеркивалось то, что происходило утром. Я не понимал еще, что человек без прошлого похож на однодневное насекомое.

Школа ФЗУ имени Тимирязева выпускала автомонтеров. Фабзайчата — так называли тогда этих учеников — были настолько пестры по своей подготовке, что мою математику мне приходилось кромсать на такие ничтожные кусочки, которые они могли бы заглатывать, не разжевывая.

Пятый угол

В те годы был изобретен специальный термин для этого метода — пропедевтический. Я совестился спросить, что обозначает это слово, и до сих пор так и не удосужился выяснить его подлинный смысл.

Однако суть его состояла в том, что мысль, требующая научного доказательства, внушалась полуцирковым способом.

На урок геометрии я приходил к своим фазайчатам, груженный обрезками фанеры. Эти обрезки подвешивались на стене у доски, я дергал их, как фокусник, за ниточки, и получалось, что большой фанерный квадрат, громоздившийся на гипотенузе, распадался на два меньших квадрата, расположенных на катетах.

Проделывал я это с необыкновенной легкостью, но поначалу мне чудилось, что в углу моего класса беззвучно рыдает старый грек Пифагор.

Сколько раз, уже много позднее, мне пытались внушать все тем же пропедевтическим методом истины, несравненно более спорные, чем бессмертная Пифагорова теорема!

В ФЗУ я работал недолго. Вряд ли кто-либо из моих учеников запомнил меня: ничему путному я научить их не мог.

Но они-то, эти бездомные и бесшабашные мальчики и девочки, обучили меня одному: желанию быть понятым. Когдаходишь в класс, где за

партами сидят сорок оголодавших от невежества ребят, разевающих на тебя свои шумные галочки рты, ты не можешь позволить себе подлой роскоши быть непонятым.

В школе мне уплатили первую зарплату — триста рублей. Это было в десять раз больше, чем я проживал до сих пор в месячный срок.

Старик шофер, преподававший ребятам езду в моих группах, получал в кассе деньги вслед за мной. Увидев мое глупое лицо, когда я рассовывал бумажки по карманам, шофер сказал:

— Есть к вам разговор, товарищ преподаватель.

Я подождал его у входа, полагая, что разговор пойдет о наших учениках: бывало, что мы с ним помогали друг другу.

Старика ребята любили; он ездил еще на первых автомобилях в России, был гонщиком, служил шофером у кого-то из великих князей. С князем они не ладили; выпивши у царя в Зимнем дворце, князь пытался сесть за баранку, Степан Иванович этого баловства терпеть не мог. Сперва он уговаривал князя по-хорошему, а потом, не сдержавшись, обложил его непотребными словами. Князь очень расстроился, тоже психанули, и произошла между ними непоправимая размолвка.

Пятый угол

— И уже того уважения, — рассказывал Степан Иванович, — у нас не стало. И я подал на расчет. А тут как раз и февральская революция.

— И больше вы его не встречали? — спрашивали ребята.

— Врать не буду, не встречал.

Глядя на Степана Ивановича, я не сомневался в правдивости его рассказа. Он был человек самостоятельный — есть такое слово в народе. Что же касается великого князя, то, черт его знает, разные, вероятно, случались великие князья. Написал же один из них «Умер, бедняга, в больнице военной» — тоже не типично для семьи Романовых.

Дождавшись Степана Ивановича у входа, я пошел с ним через лавру на Старо-Невский.

— Выпьем пивка, — предложил старик.

Мы зашли в «Культурную пивную» — так она называлась. Старик заказал пару пива, здесь подавали его с соленым горохом и с густо посоленными крохотными сушками.

Пиво я не любил, но из уважения к Степану Ивановичу потягивал его медленно и солидно.

— Глупостей много, — сказал вдруг старик. — Почему именно культурная пивная? Значит, если я здесь нарежусь, то я кто?.. Та же буду свинья. Это знаете кто придумал? Деревенский мужик. Он прикатил в город, и ему охота срочно откреститься от своей темноты. Вот он и пошел называть по-

новому: культурная парикмахерская, культурный сортир. Прислонил серьезное слово к дерьму — и рад.

Я ответил что-то в том духе, что тяга к образованию — явление положительное. Степан Иванович вежливо кивал, но слушал без всякого интереса. На середине какой-то фразы он внезапно перебил меня:

— Покуда не женились, надо бы вам построить костюм.

Я невольно посмотрел на свою немолодую толстовочку.

— Если желаете, — сказал Степан Иванович, — можно сходить к одному портному. Он раньше фраки шил. А нынче работает в спецмастерской. На горбунов шьет и на ответработников.

Попасть в эту мастерскую было сложно, но старик шофер помог мне. На руках у меня оказался ордер, а знаменитый портной был предупрежден о моем существовании. Насколько я понял, Степан Иванович дружил с ним с давней поры. По какому разряду я был зачислен в клиенты — как горбун или как ответственное лицо, меня не волновало.

Я хорошо запомнил этого мастера не потому, что он построил мой первый костюм: чем-то он поразил мое воображение.

Когда я вошел в мастерскую, Яков Захарович пил чай.

Поодаль, на широких столах, скрестив под собой ноги, сидели брючники.

Яков Захарович пил свой чай с лимоном за отдельным маленьким столиком. Седой, стройный и элегантный, со светлым платочком в верхнем карманчике отлично сшитого бархатного пиджака, он поднялся мне навстречу, небрежно принял из моих рук ордер и отложил его на столик, не глядя.

— С вашего разрешения, я допью чай, — сказал Яков Захарович. Он протянул мне журнал мод. — Ознакомьтесь, — сказал Яков Захарович. — Я буду очень огорчен, если вы отсюда что-нибудь выберете.

В двадцать лет у меня не было четкого представления о модах, я листал журнал без всякого воодушевления. Возможность ничего не выбирать устраивала меня.

— Приступим, — сказал Яков Захарович, подымаясь и разминая свои длинные, тонкие пальцы, как музыкант перед роялем. — Попрошу вас пройти до окна и затем — на меня.

Как заговоренный, я дошел до окна.

— Держитесь свободней, — мягко попросил Яков Захарович.

Я приблизился к нему, как он велел.

Он положил свои легкие руки мне на плечи и едва ощутимым нажатием пальцев как бы извлек

из моей фигуры одному ему слышимую мелодию будущего пиджака.

Это не было шарлатанством. Я стоял перед художником. В эти краткие минуты я был его любимой темой.

— Лидия Николаевна, — окликнул кого-то Яков Захарович, — попрошу вас записать размеры.

И, осторожно бродя пальцами по моему телу, он тихим голосом диктовал, не подряд, а с паузами, во время которых по его лицу проносились тени волнения и мыслей.

— Правое плечо — восемнадцать сантиметров, — диктовал Яков Захарович. — Левое — семнадцать. Правая лопатка на полсантиметра выше левой.

Заметив, вероятно, мою растерянность, он сказал:

— Не пугайтесь: каждый человек своеобразен. И только настоящий мастер может разгадать эту тайну.

Лучшего костюма, чем сшил мне Яков Захарович, у меня не было в жизни. Даже через двенадцать лет, блокадной зимой сорок первого года, я получил за этот костюм на Кузнечном рынке баснословную цену — три килограмма дуранды.

И все-таки Яков Захарович запал мне в душу не этим. Он первый отнесся ко мне как к своеобразной, ни на кого не похожей личности.

Все рухнуло под откос, как только я встал на ноги. Профессор Голованов с семьей возвратился из Харькова в Ленинград.

Больше года мы не виделись с Катей. За это время я получил от нее два письма, из которых можно было понять, что она чувствует, но нельзя было сообразить, что она делает. Я и сам писал ей такие же письма: они были вне времени.

Я понял из ее письма, что она рассталась со старшим оперуполномоченным ОГПУ Тышкевичем и вышла замуж за артиста Астахова. Катя упоминала об этом мельком, как о само собой разумеющемся поступке.

С Болеславом Тышкевичем она сошлась еще в то время, когда я жил в Харькове.

Он был старше нас лет на десять, этот загадочный блондин с неподвижно-породистым лицом интеллигентного аскета. Впрочем, даже глядя на него, я выдумывал его наружность. Человек, профессией которого являлась каждодневная борьба с контрреволюцией, не укладывался для меня в рамки определенной внешности. Его лицо, даже когда я смотрел на него, было размыто легендой.

В это лицо Катя выстрелила из нагана.

Гуляя с ней, застигнутые ливнем, мы постучались к нему — он жил около Университетского сада. Увидев, что мы промокли, Тышкевич дал нам свою одежду. Мне достался плащ, а Катя надела его

галифе, гимнастерку и высокие сапоги. Оба мы, и Тышкевич и я, смотрели на нее влюбленными глазами.

Она прохаживалась по комнате, грохоча сапогами не по росту.

Подле дивана на тумбочке лежал наган, патроны из него были рассыпаны рядом. Катя взяла наган и, зажмурившись, прицелилась в Тышкевича.

— Страшно? — спросила она.

— Нисколько. Он не заряжен.

— А говорят, что с оружием нельзя шутить, — сказала Катя.

— Говорят, — ответил Тышкевич.

— И вам нисколючко-нисколючко не страшно?

Он пожал плечами, не сводя с нее околдованного взгляда.

— Ладно, — сказала Катя. — Я только скоманую, как в книжках.

И она скомандовала:

— По врагам революции — огонь!

Комната лопнула от выстрела. Тышкевич упал. Но тут же, приподнявшись на колени и придерживая окровавленное лицо, он сказал:

— Запомните: я чистил револьвер... Положите его около меня...

«Скорая помощь» увезла Тышкевича через десять минут. Пуля пробила ему щеку, не зацепив кости. В протоколе было написано, что ранение

произошло в результате неосторожного обращения владельца с оружием.

Этот выстрел решил судьбу их отношений. Катя ухаживала за Тышкевичем, пока он болел. Она вкладывала в это столько своей вины и восхищения его мужеством, что уже ничего другого не оставалось, как наградить Болеслава самым дорогим, что у нее было, — собой.

Их брак привел родителей Кати в ужас. Чекист у самовара, за чайным столом, в доме петербургского профессора — этого Анна Гавриловна вынести не могла. Она прокляла бы дочь, если бы не знала, что Кате наплевать на ее проклятие. Федор Иванович ужасался вслед за своей женой — он все, кроме своей работы, делал вслед за Анной Гавриловной, — но борьба с заразными болезнями занимала его глубже, нежели то, что делалось дома у самовара.

— Я требую, чтоб ты поговорил с ней, Федор, — теребила его Анна Гавриловна.

— Непременно, — кивал он. — Катенька, — ловил он свою дочь в коридоре мединститута, — нам бы надо с тобой обсудить...

Поднявшись на цыпочки, она целовала его в щеку.

— Я сидела на твоей лекции, ты у меня просто прелесть, папочка!

— Тебе правда понравилось?

— Ужасно! И всем нашим девочкам — тоже!

Вспомнив тягостную отцовскую обязанность, Федор Иванович бормотал:

— Дело в том...

— Дело в том, что мама просила тебя поговорить со мной. Ее не устраивает Тышкевич. А меня не устраивает, что ее не устраивает. Я могу не бывать у вас дома. А ты ко мне будешь приходить на тайные свидания, хорошо, папа?

Растерявшись, он отвечал:

— Хорошо.

Дома Анна Гавриловна спрашивала у него:

— Ты поговорил с ней?

— Поговорил.

— Ну и как она реагировала?

— Обещала подумать.

Этот брак был обречен с первого дня. Он был основан на Катином восторге. Когда восторг протерся и залоснился на сгибах каждодневного общения, то внезапно оказалось, что Тышкевич вполне ординарная личность. Его многозначительная молчаливость объяснялась тем, что ему нечего сказать.

У всех у нас был в то время надежный способ, при помощи которого мы оценивали человека, — стихи. Никто из нас, кроме Саши Белявского, не писал стихов, но страсть к ним представлялась нам непреложной.

Пятый угол

Когда мы выли Блока и Гумилева, Маяковского и Пастернака, у Болеслава Тышкевича глохло лицо. Он смотрел на нас вежливо-мертвыми глазами. И этого Катя не могла ему простить.

Я хорошо понимаю, насколько легковесно было судить о людях по этому поэтическому принципу. Но как быть, если даже сейчас мне все еще продолжает чудиться, что человек, расцветающий от строчек: «...или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыплется золото с кружев розоватых брабантских манжет», — что человек этот догадывается о чем-то, о чем догадываюсь и я. Это как бы пароль для прохода назад, в мое поколение.

Я хочу вернуться в него. У меня исчезло любопытство к будущему.

Верните мне Харьков моего прошлого. С разодранным овчинным полушубком, в котором я ходил зимой. С белыми носками. С самым вкусным завтраком на свете — хлеб с соленым огурцом и чай с сахарином. С легким угаром от рано закрытого дымохода. С подвалом, в котором никогда не бывало солнца. С кавунами — их тупо называют в Ленинграде арбузами. С запахом конского навоза. С Университетским садом, где я ловил сачком бабочку-махаона. Остановившийся, гудящий паровозами Харьков в день смерти Ленина. Маму. Живого Маяковского на сцене театра. Кинематограф «Апол-

ло» на Московской улице. Горбатый мост через речку Лопань — я обдумывал на нем самоубийство. Пасхальный стол на Черноглазовской. Кусочек мацы, просто так, для вкуса — я не стану от этого националистом. Илью-пророка, делающего гром. Обращение «товарищ», которое я впервые услышал.

Правду, которую я знал. Веру, в которую я верил...

По велению случая в огромном городе Катя оказалась моей близкой соседкой — Головановы поселились в Озерном переулке. А я-то целый год ходил мимо этого переуллка запросто, даже не подозревая, какой смысл он приобретет для меня, когда сюда в угловой дом переедет Катя.

Все близлежащие улицы — безликая прежде Знаменская, унылая, как труба, Бассейная, — все трамвайные маршруты впадали теперь в Озерный переулочек и столбенели у дома на углу.

Этот дом на углу еще долго умирал для меня, постепенно и по частям. Сперва отсохли и отвалились окна, затем омертвело парадное, и только балкон держался на расшатанных кронштейнах моих воспоминаний. Он и сейчас еще, облупившийся и навсегда пустой, висит как ни в чем не бывало.

Нового Катиного мужа, артиста Астахова, я прежде не знал. Вероятно, Катя что-то рассказывала ему обо мне — он встретил меня как старого и доброго знакомого.

Маленький, быстрый, круглый, без двух главных зубов в передней части рта, Игорь Аркадьевич Астахов мало походил на артиста. В доме Головановых он приживался так же трудно, как Тышкевич. Ко всему прочему Астахов почти ничего не зарабатывал. Что-то у него не складывалось с артистической работой, она была у него случайной, то в одном временном театре, то в другом — срывы не обескураживали его. Он носился с какими-то новыми театральными идеями, в которых я ничего не смыслил.

Ко мне Астахов был полон дружелюбия. Получалось даже как-то так, что я заслуживаю его особого доверия именно потому, что люблю его жену. Порой мне казалось, что Астахов умышленно связывает меня своим доверием. Опутанный им, я чувствовал себя подлецом. Когда они ссорились, я чаще всего принимал сторону Астахова. В этом не было никакой логики, кроме той, что оба мы были обречены Катей.

По-моему, она никогда не понимала, каких мучений мне стоила эта близость к их семье. Раздираемый ревностью, я выискивал в Астахове недостатки и не находил их. Я пытался утешить

себя чудовищным Катиным характером, заботливо перебирая ее пороки, бормоча их вслух для большей убедительности, — все это облетало от одного прикосновения к ней.

Когда становилось совсем невыносимо, я исчезал. Но она не позволяла мне исчезать. Приходил Астахов.

— Куда вы девались? — спрашивал он.

— Работы много.

— Брехня, — смеялся Астахов. — Не валяйте дурака. Идемте пить чай. Катя ждет вас.

— Я не могу, у меня — тетради...

Он садился рядом со мной на кровать, не снимая пальто. Его круглое, доброе лицо светилось участием.

— Она вас чем-нибудь обидела?

— Ничем.

— Я же свой человек, — говорил Астахов, заглядывая в мои глаза. — Мне вы можете рассказать.

— Так ведь нечего рассказывать. Просто я занят: надо проверить тридцать контрольных.

Астахов вздыхал:

— Вы мне оба ужасно надоели. Она там сидит и плачет, что вы не идете, а вы здесь сидите и бубните, что у вас тетради. И самое смешное — почему-то я должен разбираться в ваших отношениях!.. Вставайте. Пошли!

Пятый угол

И я вставал и шел. По дороге, держа мой локоть, Астахов убеждал меня:

— Не сердитесь на нее. Она к вам замечательно относится.

Катя так радовалась моему приходу, что я обмирал от счастья. Я пил с ними чай, останавливая время, — кроме этого стола, за которым она сидела сейчас, мне ничего на свете не надо было. Даже присутствие Астахова не слишком меня угнетало. Я научился уговаривать себя словами Кати:

— Когда вы, наконец, поймете, что вы существуете отдельно от всех! Вам этого мало?

Она говорила это яростно, с такой силой убежденности, что я обмякал и сдавался. Но стоило мне расстаться с ней, как мутные волны ревности били меня об стены домов. Тот же чайный стол, за которым я только что был счастлив, тот же Астахов, милым шуткам которого я только что смеялся, Катя та же Катя, все та же Катя, принадлежавшая другому, рвали меня в куски. Я кружил по Озерному переулку, таясь в тени домов, светились на весь земной шар три угловых окошка, хлопала входная парадная дверь на тугой пружине, люди входили и выходили из этого дома, не представляя себе, в какой дом они входят и выходят, висел в небе балкон, меченный моей мукой. Он был единственный от горизонта до горизонта. Сперва гасло одно окно, потом второе — это еще можно было вынести.

Третье окно, в спальне, гремело в меня светом, и, когда свет мерк в нем, я подбирал себя мертвым с земли и уползал к себе на Саперный.

Профессора Голованова арестовали в тридцатом году. Никому из близко знавших Федора Ивановича не приходило в голову, что он в чем-нибудь виновен.

Это уже гораздо позднее, лет через шесть-семь, родственники и друзья арестованных выучились страшному искусству: искусству угадыванья вины, по которой исчезли отец или мать, муж или жена, брат или сестра.

В истощном желании оправдать для себя происходящее, оправдать не для того, чтобы выжить, а чтобы жить: ходить на работу, воспитывать детей, есть, пить и спать, улыбаться, любить, смотреть друг другу в глаза, — чтобы иметь эту возможность и право на это, человек становился дьявольски изобретательным: он искал и находил причины ареста.

Люди доводили себя до истовой веры в справедливость происходящего безумия: фанатизм всегда доступнее, нежели разумное отношение к действительности. Слепо верующий начинает с того, что не требует объяснений, а кончает тем, что не терпит их.

Правда тех трагических лет нынче смещается. Бывший фанатик говорит с гордостью: да, я ошибался, но ошибался вместе со всеми, вместе с лучшими представителями народа. Человек же, рискующий утверждать, что он и в те времена понимал весь ужас происходящего, выглядит сомнительно: оказывается, он виноват в том, что не ошибался. Ему нельзя верить — он может снова не ошибиться вместе со всеми. Магия постоянной, всегдашней правоты большинства ослепляет нас. Истории известно немало случаев, когда правым оказывалось меньшинство.

Арест Федора Ивановича в тридцатом году был для всех близко знавших его недоразумением, которое должно вот-вот разрешиться.

Анна Гавриловна не отходила от телефона, она ждала — каждую минуту могут позвонить и сообщить, что муж выпущен из тюрьмы. Катя бегала открывать дверь — ей казалось, что отец придет внезапно.

Никаких особых хлопот из дома не велось: в то время еще не научились бессмыслию заявлений на высочайшее имя — была вера в правосудие. Эта вера сменилась потом бесчеловечной формулой: лес рубят — щепки летят. Когда и ее оказалось недостаточно, пришла на смену иная: цель оправдывает средство.

Эти формулы не спускались сверху, они не проносились с трибун, их вымучивали из себя сами люди для того, чтобы объяснить необъяснимое, чтобы уберечь хотя бы для себя веру в свою не зря прожитую жизнь.

Анна Гавриловна носила передачи, их не принимали — Голованов находился под следствием. Его товарищи по институту отвалились не сразу, они навещали Анну Гавриловну до тех пор, пока не разнесся слух, что арестованы еще два крупных бактериолога, в Киеве и в Москве. По слухам, готовилось групповое дело.

Самым верным другом семьи оказался человек, которого в доме Голованова не любили, — бывал он там прежде только на Пасху и на Рождество.

Не любила Анна Гавриловна патологоанатома Волкова за грубость, склонность к алкоголизму и внешнее неряшество. Было известно, что на своих лекциях профессор Волков, не всегда трезвый, задает студенткам двусмысленные вопросы, особо гоняя их по тем частям человеческого организма, которых студентки более всего срамятся. Известно было, что профессор попивает спирт со сторожем анатомички.

Жену свою Волков похоронил лет десять назад, она умерла от тифа, и с тех пор он жил один, угрюмо и неряшливо. С брючин его свисала бахрама, каблуки сапог были вечно сбиты набок, на отво-

ротах пиджака — забуревшие пятна: профессор ронял изо рта, когда ел. В квартире его остались от жены две старых одичавших кошки, их шерсть он носил на себе.

Волков не был чудачком. Просто он жил по иным законам, нежели все остальное человечество. От многолетнего общения с покойниками в прозекторской у него составилось презрение к людской суетности. Институтское начальство опасалось его — он хамил с ходу, без предупреждения.

Новый, плохо осведомленный о нем замдиректора вызвал как-то Волкова к себе и среди прочего в вежливой форме попросил профессора обратить внимание на свой внешний вид.

— Учту, — кивнул нечесаной головой Волков. Он медленно посмотрел на румяного, моложавого, рано располневшего замдиректора и сказал: — Внешний вид... А вскрывать-то вас, пожалуй, будет противней, чем меня: сала много, весь изгадишься...

Волков приходил к Анне Гавриловне смущенно, словно был виноват в том, что случилось. Никаких фраз сочувствия он не произносил, сидел неподолгу, молчаливо покашливая. Иногда говорил невпопад:

— Вчера на Крестовском острове соловей пел. Интересно бы посмотреть, как у него устроено горло.

Сперва Анна Гавриловна сухо удивлялась его регулярным визитам, а потом привыкла к ним и даже беспокоилась, когда он дня два не появлялся.

— Надо бы посоветоваться с Антоном Игнатьевичем, — говорила она так, будто всю жизнь только и делала, что спрашивала советы у Волкова.

Растерявшись от своей беды, она металась по квартире, вытаскивая из столов, шкафов и чемоданов старые фотографии Федора Ивановича, его письма, книги, написанные им, адреса и поздравительные телеграммы, присланные ему со всего мира в день шестидесятилетия. Все это она раскладывала вокруг себя в каком-то одной ей ведомом пасьянсе, ожидая, что кто-то важный придет, разглядит это, разгневается и тотчас же отдаст распоряжение выпустить мужа на свободу.

Важное лицо все не являлось, оробевших друзей становилось все больше, и только перед Волковым можно было бесконечно разворачивать трудную и полезную жизнь Федора Ивановича.

— Это Федя на чуме. Это — на холере. Это он в кембриджской мантии.

Сопя и покашливая, Волков рассматривал фотографии. Иногда бормотал:

— Мерзавцы.

— Ну за что? За что? — спрашивала его Анна Гавриловна. — Я ведь ничего не понимаю, голуб-

чик Антон Игнатъевич. Может, надо куда-то пойти, кому-то сказать...

— Мама, перестань! — обрывала ее Катя. — Отец ни в чем не виноват. Произошла ошибка, ее исправят. Ты увидишь, перед нами еще извинятся.

— Можно, я выпью водки? — спрашивал вдруг Волков.

Поднявшись, он шел в прихожую, вынимал из кармана шубы аптекарский пузырек со спиртом; потом заходил на кухню и, опростав в чайную чашку пузырек, доливал ее на треть водой из крана. Он был уже своим человеком в этом разрушенном доме. Выпив, Волков шумно нюхал корку хлеба и сжевывал ее. С чашки алкоголя он не хмелел вовсе.

Уходя как-то от Головановых, Антон Игнатъевич поманил Катю пальцем на лестницу.

— Матушке вашей я уж не рассказываю, а вам — обязан. Этим мерзавцам в институте я предложил написать протест. Отказались. Хожу, не подавая им руки... — Он сдул табачные искры с воротника своей шубы. — А отец ваш в тюрьме заболел. У него уремия. На почве объявленной голодовки.

— Откуда вы знаете? — спросила Катя.

— Джанелидзе говорил. Он оперировал сегодня утром Федора Ивановича. Неудачно.

Назавтра Анне Гавриловне позвонил следователь и сообщил, что ее муж находится в хирургии-

ческой клинике Военно-медицинской академии; при желании к нему можно пройти.

Катя пошла с матерью.

Голованов лежал в отдельной палате. Он был без сознания. Его белое лицо, в белой бороде, покоилось на белой подушке. Анна Гавриловна никак не могла осмыслить, что он не слышит ее.

— Мама, пойми... — останавливала ее Катя. Она стояла в ногах отца, чтобы, как только он придет в себя, первой бросилась ему в глаза не больничная стена, а дочь.

— Оставь меня в покое, — отмахивалась от нее Анна Гавриловна. — Он великолепно все понимает... Представь себе, Федя, знаешь, с кем мы дружились? С Волковым! Я думала, он такой бурбон, а оказывается, прелестная личность. Тебе тысяча приветов, от всех, от всех...

Вошел профессор Джанелидзе, взял уменьшившуюся руку Голованова, наклонился над ним, приподнял одно его веко и, не разгибаясь, сказал Анне Гавриловне:

— Ваш супруг скончался.

Похороны Голованова были неожиданно многолюдны. Его смерть словно прорвала оцепенелый страх. Пришли бывшие сослуживцы по академии, медики всего города, учившиеся по книгам Федора Ивановича, студенты. И была двойная

печаль в этих похоронах: умер неосвобожденный арестант.

Когда гроб с телом снимали с катафалка и изготавливались нести его к могиле, вырубленной в очугуневшей от мороза земле, Волков приблизился к завкафедрой бактериологии, отодвинул его плечом от гроба и тихо и внятно сказал:

— Голованов мне простит. Убирайтесь отсюда на хер. Иначе я раскрою вам череп.

Спустя неделю после похорон я переехал в Озерный переулочек: Анна Гавриловна попросила меня об этом, она опасалась, что у них отнимут лишнюю площадь.

Жизнь у Головановых была мне в тягость. Несчастье, соединившее нас, обрело со временем будничную форму, я оказался лишним внутри него.

Горе Анны Гавриловны стало стойким делом ее существования, она жила для того, чтобы помнить Федора Ивановича и наращивать память о нем все новыми и новыми подробностями. Это горе не было показным, но оно строго отбирало для себя только тех людей, которые были причастны к нему и полезны ему. Они нужны были горю, как топливо огню. Все, что не относилось к утрате, оборачивалось для Анны Гавриловны обидой и неприличием.

Режим печали вдовы стал так деспотичен, что даже Катя не выдерживала его. Она болела сердцем по отцу, но хотела жить дальше, не задерживаясь в том месте, где он погиб.

Астахов и я чувствовали себя в этом доме виноватыми. У Игоря Аркадьевича было дело — он мог открыто любить Катю, на это Анна Гавриловна мало оскорблялась. Что же касается меня, то мое постоянное присутствие ограждало ее от нахальства управхоза, но одновременно я напоминал Анне Гавриловне, до какого же страшного уровня изменилась ее жизнь.

У меня хватило бы терпения и сил вынести это — я жалел Анну Гавриловну, — добивало меня мое бесправное состояние рядом с Катей.

На моих глазах ежедневно и поминутно Астахов делал с Катей все то, что должен был делать с ней я. Он грабил меня, обкрадывал до нитки.

Вечера мы проводили вместе. У меня было свое место за их столом. Все было у меня в этом доме: висело мое полотенце в ванной, мое пальто на вешалке в прихожей; мои домашние туфли стояли под моей кроватью. И ничего здесь мне не принадлежало. Единственной собственностью была моя непроходящая боль.

Лежа ночью в постели, я вслушивался в чужое безмолвие. Из-за стены доносилось похрапыванье

Астахова — он смел храпеть рядом с Катей. Он все смел, лежа рядом с ней. Когда храп внезапно замирал, жизнь останавливалась во мне. Я накрывал свою голову подушкой и, контуженный тишиной, принимался шепотом выводить алгебраические формулы. Сквозь пух подушек, сквозь стройность выводов меня выволакивало на поверхность мое больное воображение.

Утром, по воскресеньям, мы завтракали вместе.

Катя спрашивала:

— С кем вы разговариваете по ночам?

— Ни с кем.

— Не врите, господин учитель, — подмигивал Астахов. — Вчера мы слышали, как вы трепались на какую-то тему.

— Это со сна, — сказала Катя. — Что вам снилось?

— Наверное, урок.

— У вас был странный голос, — сказала Катя. — Я даже хотела постучать вам в стенку, но Игорь не разрешил.

— Голос как голос, — сказал Астахов. — Чего ты к нему привязалась?

Жить так дальше я не мог. Питанный бессонницей, я приходил на свои уроки в школу. Здесь, в классе, на виду у ребят, я опоминался. Ощущение своей необходимости ставило меня на ноги. Это

свойство учительской работы не раз приходило мне на помощь. Класс, парты, лица учеников, обращенные ко мне, ограниченность сорока пяти минут, произвольное чувство самоуважения, вызванное немедленной необходимостью совершить важный поступок, — все это как бы брало меня за шиворот и со звоном встряхивало. Я давал урок.

За моей спиной, локоть к локтю, стояли добрые, проверенные веками наставники: Шапошников, Вальцев, Киселев и Рыбкин. Рядом с точностью истин, которые они проповедовали, моя боль становилась приблизительной. Я совестился Шапошникова и Вальцева, Киселева и Рыбкина. В сущности, я был еще полуграмотным юнцом — подвиг составителей учебников вызывал мое безмерное уважение.

Та нищая математика, которую я знал, продолжает и сейчас восхищать меня. Рушатся миры, дичают целые народы, эпохи предают себя, а параллельные линии продолжают пересекаться только в бесконечности.

Пожалуйста, летите на Луну, синтезируйте белок, но только оставьте в покое мои параллельные линии. Должна же быть у старого, усталого человека хоть одна истина, на которой он может отдохнуть душой.

Пятый угол

И вот я оказался на Урале, в городе Свердловске — в тридцать первом году он еще помнил себя Екатеринбургом.

Все случилось внезапно.

На доске приказов, прибитой в коридоре школы Тимирязева, кто-то повесил объявление, что обком профсоюза учителей вербует добровольцев для работы в учебных заведениях Урала.

Мне было решительно все равно, куда ехать и кого учить. Я должен был исчезнуть. Я еще не догадывался тогда, что человек лишен этой возможности, потому что, куда бы он ни исчез, главный груз его жизни малой скоростью следует за ним.

На этот раз я знал, что Катя не станет оплакивать мой отъезд. Ей было не до того. Экзаменационная сессия, частые размолвки с матерью, неустроенность Астахова уводили ее в сторону от меня.

Узнав, что я завербовался, она сказала:

— Ну что ж, может, вы и правы.

Злоба свела мне рот. Я ответил:

— Подробности письмом.

— Господи, до чего вы мерзкий тип! Ну почему вы злитесь?

— Не обращайтесь внимания. Чисто нервное. На почве длительного воздержания. В Свердловске это пройдет, я постараюсь.

— Вы не посмеете, — сказала Катя.

— Посмею. Теперь мне известно, как это делается. Я многому научился, лежа за вашей стеной.

— Я вас ненавижу, — сказала Катя.

— Не имеет решающего значения, — ответил я.

Поезд уходил в шесть вечера. С утра, пока дом спал, я попытался уложиться.

Большая корзина стояла на двух стульях, а вокруг, на полу, на кровати, на подоконниках, были разбросаны мои вещи. Я попробовал укладывать их подряд, как попало, но, когда корзина была заполнена до краев, в комнате оставалась половина баракла. Хотелось все бросить и ехать вот так, в чем стоишь. Эта квартира доконала меня.

— Кавалер де Грие, — сказал я себе. — Дерьмо собачье.

Корзина не закрывалась. Я сел на ее скрипящую крышку и с трудом накинул петли.

Свердловское горно определило меня в Урало-Сибирский Коммунистический университет, в комвуз. Я стал называться ассистентом кафедры математики. Уроки мои отныне именовались лекциями.

Эти солидные названия — университет, кафедра, лекция — тешили мое зазеленевшее тщеславие; кажется, я всерьез считал себя научным работником.

Меня захлестнуло состояние педагогического восторга. Этому восторгу способствовало то, что в

комвузе я мог до дна, без остатка тратить все, что знал. В работу, как в прорву, шли любые сведения, почерпнутые мной в жизни. Их было не так уж много, и я возвращался после занятий с площади Народной мести к себе во втуз-городок опустошенный и обессиленный.

Уровень знаний студентов комвуза был так невысок, что даже мое самодельное образование было покрыто для них снеговой шапкой трудно достигаемой вершины. Секретари райкомов партии, сельских и заводских партийных ячеек, председатели сельсоветов и райисполкомов — эти немолодые люди сидели передо мной в бывшем особняке миллионера Демидова и старались не проронить ни одного слова из того ужасающе скудного запаса знаний, которыми я расточительно с ними делился.

В деревнях и селах прошло детство моих комвузовцев. Они обучались грамоте у сельских дьячков, в церковно-приходских школах, в трехклассных городских училищах. Бездонную пропасть между их жизненным опытом и их невежеством заполнить было немыслимо. Комвуз перебрасывал через эту пропасть легонькие мостки, собранные наспех из чего попало. Балансируя, по ним можно было ходить.

Мне было проще, нежели другим преподавателям. Мне не приходилось присаживаться перед моими студентами на корточки, я стоял перед ними

в рост. Их благоговейное отношение к арифметике не казалось мне наивным. Постигнутое деление десятичных дробей приводило их в восхищение, которое я разделял вместе с ними. Для меня было чудом, что я могу их чему-то научить.

Способ, при помощи которого я это делал, был изобретен мной в одиночку. Комвузовцы не воспринимали абстрактных категорий. А я хотел быть понятным во что бы то ни стало. Проявляя нечеловеческую изворотливость, я пытался находить любому математическому понятию употребление в повседневной действительности.

— А где это применяется в жизни, на практике? — каждодневно спрашивали меня студенты.

Вопрос этот не возмущал меня. В ту пору я считал его совершенно естественным. Мне представлялось непреложным, что даже политические события могут быть рассмотрены в аспекте математики. Я сочинял задачи на производственные темы, на оборонные, на колхозные. Были у меня задачи «на вредительство» и «на партийные уклоны».

Я был убежден, что математика — наука классовая. Спрос на эту точку зрения был велик, я искренно разделял ее и проповедовал. Глаза моих студентов загорались нездоровым пламенем, когда я рассказывал им, что есть математика кулаков и математика рабочих в союзе с беднейшим крестьянством.

Пятый угол

В «Анти-Дюринге» и в «Диалектике природы» я выискал три-четыре примера, сгодившихся для обоснования моей позиции, Фридрих Энгельс здесь ни при чем.

Сейчас, оборачиваясь на то время, я с особенной тщательностью хотел бы соблюсти непоколебленным мое тогдашнее мироощущение. Однако мне трудно не понимать сейчас, что именно в те годы вызревала внутри людей готовность к ослеплению верой. Все дело, мне кажется, в том, что вера, направленная, как фары, на дорогу, по которой идешь, освещает хоть крохотный кусок твоего длинного пути, а вера, бьющая светом в глаза, — слепит. Фары того времени лупили в лицо, в упор.

По крайней мере, со мной было именно так. Пик некоторых моих заблуждений пришелся на тридцать первый год. Это не значит, что впоследствии я с легкостью разбирался в том, что хорошо и что гадко. Я только стал позволять себе роскошь заблуждаться самостоятельно. Тем горше, между прочим, прозрение.

Втуз-городок строился километрах в пяти от Свердловска.

Здесь, в чистом поле, в степи, наскоро ставили громадные неуклюжие корпуса. Улиц между ними не было, казалось, что раскинулся тут под просторным небом каменный цыганский табор.

Шестиэтажные шатры пестрели разноцветными заплатами: низ был выложен из красного кирпича, а дальше шло в дело все, что попадалось под руку, — серый, белый и желтый камень.

Не было дверных и оконных петель и ручек, рамы намертво забивались гвоздем-соткой, двери висели на кожаных обрезках, не достигая пола; половые доски, настланные из свежесрубленной сосны, высыхая, стонали и задирались дыбом. Уральские непокорные ветры со свистом врывались под подоконники и осыпали штукатурку на пол. Ветер сновал по длинному полутемному коридору — он освещался только двумя окнами в торцах.

В недостроенные корпуса втуз-городка, в пыль, грохот, в строительное безумие въезжали студенты. Над их головами воздвигались этажи, под их ногами настился пол, ржавая вода в трубах водопровода подымалась только до третьего пролета. Во всю длину узких умывальных комнат протянулись железные корыта, над ними висели рукомойники с подсосками. От вони аммиака слезились глаза и першило в глотке.

Я был счастлив. В пятом этаже комвузовского корпуса мне дали комнату. Окно во всю стену, застекленное мелкими шибками, искажающими божий свет, выходило на дальнее озеро Шарташ. Туман с Шарташа сочился в щели, оседая за ночь на моем приютском байковом одеяле.

Я был счастлив. У меня было дело, не дававшее мне опомниться. Вокруг меня жили люди, которым я был остро необходим. И в благодарность за это я любил их.

По моему тогдашнему миропониманию это были люди, владевшие чем-то, в чем я невнятно разбирался. Их усилия, воля и ум представлялись мне государственными. Я видел в них аскетов, жертвующих своим благополучием ради блага народа.

Поливаемые злыми уральскими дождями, засыпаемые снегом, по щиколотки в глине, по колено в сугробах, заметенные острой степной пылью, они ранним утром шли из нашего корпуса за пять километров в один конец до площади Народной мести, в комвуз. Темень стояла над землей, когда тем же путем они возвращались во втуз-городок. Пустяковая стипендия кормила их впроголодь, всухомятку.

Городские магазины были пусты. Порожние консервные банки стеной высились за спинами одичавших в одиночестве продавцов. Из этих же банок вздымались крепостные башни в витринах. И висели аншлаги: БУТАФОРИЯ.

Про сою и маргарин писали в газетах, что они полезней мяса и масла. Ни сои, ни маргарина в продаже не было. Ученые доказывали на крысах, что обильная еда — вредна; полезно воздержание в пище. В тот год Свердловск жил полезно.

Никому из нас в комвузовском корпусе не приходило в голову, что можно жить иначе. Мы хлебали свои пустые щи в студенческой столовой, пили теплый мутный чай б/с — без сахара — и, упираясь головой в облака, дышали разреженным воздухом будущего.

Такого чувства своей правоты, какое было у меня тогда, я больше уже не припомню. Немедленная полезность преподавательской работы удваивала мое рвение. Комвузовцы начинали с нуля, и поэтому уровень их осведомленности зримо вспухал на глазах.

Уже гораздо позднее для меня прояснилась одна общая черта их мышления. Когда люди в тридцать — сорок лет узнают то, что положено знать детям и что дети запоминают походя, не затрачивая на это решающих сил своего сознания, то у немолодых, отягощенных жизненным опытом людей происходит драматично: запоздалое познание элементарных сведений плотно застревает в их мозгу, делая их неповоротливыми и невосприимчивыми к последующему познанию на более высоком уровне. Они трудно отказываются от того, что было достигнуто таким адовым усилием. И они слишком почтительно относятся к тем упрощенным, банальным сведениям, которые усвоены ими в неудобном для этого пожилом возрасте.

Пятый угол

Даже много лет спустя, даже нынче я изредка распознаю среди своих случайных собеседников бывших студентов комвуза. Узнаю я их именно по этим свойствам мышления. Самые способные и влиятельные комвузовцы попадали иногда в Институт красной профессуры, в промакадемии, достигали в жизни больших постов, были нередко хорошими работниками, однако на многих из них лежала некая общая печать — мир представлялся им черно-белым, разнообразие его красок не воспринималось их логикой. Они слишком просто, порой с убивающей элементарностью, подходили к сложным вопросам науки, искусства, да и жизни.

Различая только два цвета — черный и белый, — долгое время жил и я.

Комната во втуз-городке была дана нам на двоих; со мной поселился преподаватель математики Арсений Григорьевич Посмыш.

Посмыш был глуп. И у него была отвратительная манера писать в воздухе пальцем, как на доске: разговаривая, он водил средним пальцем правой руки подле лица своего собеседника. Этим путем Посмыш внушал свои сиротские мысли в письменной и в устной форме. Косясь на кончик его пальца, я укачивался.

При всем при том его тонкое, красивое, значительное лицо было подпоясано иронически-

ми губами. Откуда, из какого несправедливого сочетания генов приبلудились к Посмышу и это тонкое лицо, и эти иронические умные губы скептика! Быть может, он обездолил своей случайной наружностью какого-нибудь мудреца, всю жизнь мучающегося с чужой для него восторженно-глупой физиономией Посмыша.

Я знаю, что был нехорош с ним. Сейчас мне совестно, что я так раздраженно думал о нем тогда. Посмыш преподавал математику лучше, чем я. Он любил ее и знал в совершенстве. Но меня замучила совместная жизнь с ним, его острая жажда общения.

В толстой клеенчатой тетради он вел дневник. В своем дневнике он не опускался до мелких житейских записей. Здесь были мысли. Выдержки из книг великих мыслителей, обнаженные, как провода высокого напряжения, они производили в мозгу Посмыша короткое замыкание и перегорали, не освещая его сознания. Они били его своим током и уходили в землю.

Широкие поля клеенчатой тетради были усеяны замечаниями Посмыша:

Нота бене!

Совершенно согласен.

Спорно.

Применить на практике.

Обдумать на досуге.

Пятый угол

Я прожил с ним три месяца в одной комнате. Его благоразумие, педантичность и даже доброжелательство раздражали меня. По утрам он спрашивал:

— Надеюсь, сон освежил тебя?

А перед сном он писал своим длинным средним пальцем по воздуху:

— Разреши пожелать тебе приятных сновидений.

Он спал оскорбительно для меня крепко и просыпался улыбаясь.

Вероятно, я завидовал его душевному покою. Иногда мне хотелось разозлить его, но это никогда не удавалось. В ответ на мою грубость он говорил:

— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав.

Мне кажется, он жалел меня. Мне кажется, он искренно жалел всех, кто был не похож на него. Это была жалость непонимания. Он любил говорить мне:

— Я бы на твоём месте...

— Не будешь ты на моём месте! — огрызался я.

Посмыш был старше меня на десять лет. И я точно знал, что он не будет на моём месте. Да и не такое уж это было завидное место.

Когда Валя Снегирева приехала ко мне из Харькова, Арсений Григорьевич надел свой выходной костюм. Он волновался больше, чем я. За месяц до Валиного приезда я сообщил ему, что женился.

— Поздравляю тебя от всей души, — сказал Посмыш. — И надеюсь, что цепи Гименея не помешают нашей закадычной дружбе.

Без всякой моей просьбы он тотчас пошел к коменданту дома и попросил у него место в другой комнате.

— Если тебе нужны деньги на обзаведение, — предложил Посмыш, — то мой кошелек к твоим услугам.

Взволнованный, он пришел к нам в первый же вечер; не переступая порога комнаты, протянул Вале букет цветов.

— Желаю вам и вашему супругу, — сказал Посмыш, — полного счастья в личной жизни и творческих успехов в труде.

В те времена еще не была придумана эта державная форма поздравления. Но Посмыш обладал поразительной способностью угадывать даже грядущие пошлости.

Он был добр ко мне. И в особенности — к Вале. Не замечая запухших от слез Валиных глаз, Посмыш восхищался всем, что она делала: крепко заваренным чаем, занавесками на окнах, шкафом, который она купила. Он ходил с Валею в кино и, приводя ее домой, игриво говорил мне:

— Надеюсь, ты не ревнуешь?

Он читал ей вслух записи из своей заветной клеенчатой тетради.

Пятый угол

Продолжая восхищаться нашим семейным очагом, он не видел ни моего, ни Валиного растущего одиночества.

Саша Белявский рассказал вам правду, Зинаида Борисовна: я поступил с Валею непорядочно.

Это я сейчас так думаю, тогда я так не думал.

Я считал тогда, что браки заключаются не в небесах, а в постели. Нынче я так же, как, вероятно, и вы, говорю молодым людям, что на смену первоначальной страсти приходит нечто большее — дружба, родство душ, взаимная ответственность. Но дай бы мне бог, Зинаида Борисовна, испытать хоть один раз наново ту ярость вражды, ту полную безответственность, которыми раскалена молодая любовь. Дай бы мне бог снова метаться в этом пламени...

В Свердловске Валя окончила музыкальный техникум — сюда она перевелась на последний курс из Харькова. По окончании она получила направление в детдом. Работа музыкального воспитателя не заинтересовала ее. При тех отношениях, которые у нас сложились, вряд ли какая-либо работа могла бы ее увлечь.

Мы не ссорились. Мне кажется, я был внимателен к ней. За несколько дней до ее приезда я с трудом отыскал женщину, которая обещала мне три раза в неделю приносить нам молоко. По тем временам это стоило больших денег. Молоко доставлялось аккуратно. Давясь от слез, Валя пила это

чертово молоко. Чем виноватей я чувствовал себя перед Валею, тем усердней заботился о ней. Есть и такая форма подлости.

Вечером, когда мы ложились в постель, у Вали всегда были холодные ноги. В светлые летние ночи я видел, что она спит, приоткрыв рот. Если бы я любил ее, мне казалось бы все это трогательным. Из каких постыдных мелочей состоит отчуждение, испытываемое к человеку, с которым спишь!

Мы не ссорились. Ссора возможна, если ее причина произносима. У нас не было возможности произнести ее.

Я жил, хмелея и валясь с ног от запойной работы — по десять — двенадцать лекционных часов в день. Преподавание в параллельных группах оболванивало меня: четырежды на дню я талдычил одно и то же. К вечеру лица моих студентов неразлично размывались передо мной от усталости, и мне чудилось, что я с утра объясняю одно и то же одному и тому же человеку. На обратном пути к дому во втуз-городок я продолжал механически производить в уме привычные действия; складывал и умножал номера домов и трамваев. И был счастлив, если получалось круглое число.

По осени аудитории комвуза внезапно опустевали: студентов, словно по тревоге, выметало на хлебозаготовки. Возвращаясь, они еще долгое вре-

меня приходили в себя; в их усталых глазах медленно растворялась муть ожесточения.

В свободное от лекций время я составлял задачник для комвуза. Эта работа была поручена мне секцией научных работников нашего университета. Поручением я гордился. Я был уверен в успехе и ждал оваций своей кафедры. В бурных волнах моего тщеславия я заплывал так далеко, что мне уже мерещилась ученая степень.

На заседании нашей кафедры, утверждавшем мой задачник, случайно присутствовал ректор. Я никогда не встречал его ранее. Из слухов, бродивших по комвузу, мне было известно, что старый большевик-ректор проштрафился в каком-то уклоне и, опальный, прислан к нам в Свердловск из Москвы.

За длинным столом расположились преподаватели. Среди них, наискосок от меня, затерялась щупленькая фигура ректора. Помню, что меня поразила его большая лохматая голова. Он сидел, склонив ее к столу.

Я бойко рассказал кафедре принцип, на котором будет построен мой задачник. Весь материал его пронизан современностью. Рост политического сознания студентов приобретет крепкую математическую базу. Для примера я привел две-три задачи на самые актуальные темы. Одной из них была оппозиция Сырцова — Ломинадзе.

Ректор тихим голосом произнес:

— Все это удивительно вульгарно и пошло.

В наступившем замешательстве кафедры я заносчиво спросил:

— Значит, вы считаете, что математика должна быть оторвана от действительности?

— Это дурацкий вопрос, — сказал ректор.

Что-то хрустнуло во мне от оскорбления и обиды. Я опустил на стул, обеда растерянными глазами своих товарищей по работе. Они молчали, не глядя на меня. И только Посмыш прислал мне через стол торопливую записку: «Морально я с тобой!»

В тот же вечер я написал заявление на имя заведующей кафедрой с просьбой освободить меня от работы. Прочитав, она вздохнула:

— Ректор допустил бестактность.

— Грубость, — сказал я. — Хамство.

— Вам не следует так болезненно реагировать, — сказала завкафедрой. — У ректора крупные неприятности, он нервничает... Я оставляю ваше заявление у себя, но вы подумайте.

Шли годы, в течение которых мне так и не удалось подумать. Я долго носил в душе оскорбление, нанесенное ректором. Жалость к этому старику и пронзительный стыд за себя охватили меня гораздо позднее.

В 1965 году я случайно оказался в одном доме отдыха со вдовой Ломинадзе. Когда меня познакомили

Пятый угол

с этой немолодой женщиной, у которой в результате допросов трудно поворачивалась голова, я вспомнил свою задачку, сочиненную мной тридцать пять лет назад. С помощью нескольких цифр в этой задаче доказывалось, что Ломинадзе — враг народа.

Я доказал — его расстреляли.

* * *

Жажда исповедания неутолима.

Томимые ей, мы когтим друг друга бесстыдными подробностями своей свальной вины. Покаявшись, как перед смертью, мы живем дальше, изумленно оглядываясь на культу своего прошлого. Я знаю, что несправедлив к нему. В моей памяти повредилась оптика: минувшее фиксируется искаженно.

Я бреду назад, ставя ноги в свои собственные следы, каблук в каблук. И на полпути натыкаюсь на себя же, шагающего вперед.

Теперь мы узнаем друг друга тотчас.

Я делаю шаг в сторону, молча освобождая ему путь.

— В прошлый раз, — говорит он, — вы хотели о чем-то предупредить меня.

— Это бессмысленно. Тебе ничего не удастся изменить.

— Даже если я буду знать наперед?

— Даже.

— Ерунда, — говорит он. — Вооруженный точным знанием будущего, я бы понимал, как мне вести себя.

— И понимая, ты вел бы себя так же, как те, кто ничего не понимали. Только тебе было бы гораздо труднее.

— Но ведь это противоречит науке! — раздражается он.

— Возможно.

Он пронесится мимо меня. Мне становится жаль его, я кричу ему вдогонку:

— Ты выживешь!

Письма Кати приходили в Свердловск на мой домашний адрес. Они были редки. Я написал ей, что женился, но Катя уведомила меня походя, что считает мой брак недействительным.

Она никогда не писала мне в спокойном состоянии. Дрожь ее писем передавалась и мне, как только я брал полученный конверт в руки. У меня не хватало терпения разорвать его аккуратно. И я никогда не мог охватить содержание ее письма с первого захода. Давясь ее словами, как голодный человек хлебом, я глотал их громадными ломтя-

ми, сперва различая только их приблизительный звук. Они произносились во мне голосом Кати.

...В блокадную ленинградскую зиму сорок второго года ко мне приходили ее письма из Ташкента. Они шли долго — месяцами. Грузовики с почтой проваливались под ладожский лед. Чернила были размыты водой. Отдельные слова доносились до меня, как крик. Иногда на обратной стороне конверта уцелевала фраза:

Товарищи почтовые работники! Товарищи военные цензоры! Пожалуйста, сделайте так, чтобы это письмо дошло до моего мужа, — я не могу без него жить.

Это я виноват.

Я отправил ее из Ленинграда в первый вечер войны.

Моя обида на то, что она согласилась уехать, и ее обида на то, что я не уезжаю вместе с ней, скрестились в тот вечер на вокзале. Мы еще не понимали размеров беды, наползающей на нас. Никто еще этого не понимал. Каждая отдельная боль была как наркоз, она еще не позволяла осмыслить ее всеобщность.

Многолюдный вокзал затих, как на похоронах. Уходила последняя «Красная стрела». В этот первый день войны все сразу стало последним.

Последняя Катя стояла на ступеньках вагона...

Сколько лет прошло, покуда я вылюбил ее из себя до дна.

...Не будет больше Батилимана.

Я сказал директору санатория, что мы муж и жена и что нам нужна отдельная комната.

— Это свинство, — рассердилась Катя. — Я сейчас же пойду к нему и скажу, что вы наврали.

Директор куда-то девался, его не было до вечера, а потом стемнело, и маленький домик, в котором нам дали отдельную комнату, утонул в облаке, стекшем с горы.

Я просидел всю ночь, не раздеваясь, в плетеном кресле, нераспакованный чемодан стоял в углу. В комнате было две койки, на одной из них спала Катя; иногда она просыпалась и бормотала:

— Поделом вам... Не нужно было врать.

Так продолжалось семь суток.

Утром мы спускались к морю, в пустынную бухту. Все это уже было когда-то. Я уже спускался по этой морщинистой скале, цепляясь когтями за этот сухой кустарник. Мне уже тогда не было дела до всего мира — море и скалы были слишком вечны и необъятны, чтобы я мог постигать пустяки размером в одно тысячелетие.

Пятый угол

Обожженные солнцем, мы лежали на плоских горячих камнях, морская соль белыми брызгами оседала на нашей коже. Мы сотворили эту землю и еще не успели населить ее человечеством.

На восьмую ночь Катя позвала меня к себе. Время взорвалось и перестало существовать. Исчезло пространство, кроме того, что было у меня под руками. Весь смысл моей жизни умещался на узкой санаторной койке. Не было ничего до этого и не будет ничего после этого. Было сейчас только это. Оглушенный, задохшийся, я погибал здесь и заново рождался.

Сперва в комнате стояла теплая мгла, пропитанная нагретой полынью. Она была разбросана по полу от блох. Мы ступали по ней босыми ногами, пили воду прямо из графина, проливая ее потоками себе на грудь. Графин стоял на подоконнике, и, когда мы подходили к нему, нас окликали заспанными голосами цикады. Потом в распахнутое окно нацедился рассвет, его задувало в комнату легким предутренним ветром. Мгла, как дым, поднялась к потолку, поклубилась в углах и исчезла внезапно. Это время суток, мимо которого я жил до сих пор, обладало незнакомым мне запахом и цветом; казалось, что у этого времени есть даже свой звук, тоненький, чуть различимый.

— Теперь я пропала, — сказала Катя.

— Дай бы бог, — сказал я. — Пропади, пожалуйста, пропадом.

— Я всегда знала, что этим кончится. А ты?

— Ни черта я не знал. Разве я смел знать? Если бы я точно знал, мне бы не выдержать столько лет.

— Подумаешь, три года, — сказала Катя. — Если человек любит по-настоящему, он может ждать всю жизнь.

— А потом? — спросил я.

В комнате стало совсем светло. От бессонной ночи мы были удивительно легкие. Большой комар с длинными голыми ногами, похожий на балерину, сел на Катину руку.

— Не убивай его, — попросила Катя. — Знаешь, что странно? Все, что казалось важным, сейчас кажется не имеющим значения. А пустяки, на которые я раньше не обращала никакого внимания, внезапно стали громадными. У тебя тоже так?

— Конечно, — сказал я. — У меня открылось второе зрение и второй слух.

— Смешно, что когда-то ты учил меня физике. Я до сих пор помню закон Гей-Люссака.

— Хороший парень этот Гей-Люссак, — сказал я.

— А разве это не два парня? — спросила Катя. — Я думала, что был Гей и был Люссак.

— Ты спутала с Бойлем и Мариоттом.

— Они были женаты? — спросила Катя.

Пятый угол

— Бойль любил жену Мариотта. Он просто с ума сходил по ней. В сущности, свой знаменитый закон создал один Мариотт. А Бойля он приспособил из жалости.

— Это ты сейчас придумал, — сказала Катя. — Сочини что-нибудь еще, а я полежу с закрытыми глазами.

Она прикрыла глаза, и я сочинил:

— Давай останемся здесь навсегда.

— В Батилимане? — сонным голосом спросила Катя.

— Я устроюсь тут затейником. А зимой, когда все разъедутся, меня переведут в истопники.

— Здесь нет печей, — сказала Катя.

— Я построю печи. Ты даже не представляешь себе, чего я могу достигнуть.

— А дрова?

— Я выращу лес.

— Сосновый?

— Какой захочешь.

Через двадцать дней, когда окончился срок наших путевок, она уехала в Киев к мужу: Астахов бедствовал где-то там на гастролях.

Я проводил ее до Харькова. Мне надо было ехать дальше, в Свердловск, но у меня не осталось денег на билет. Просить их у отца я не хотел. В институте переливания крови мне сказали, что за пятьсот граммов донору платят триста рублей.

В те времена еще не умели как следует консервировать кровь, а переливали ее непосредственно от человека к человеку.

На мое счастье, какой-то псих на Сабуровой даче разбил в этот день кулаком стекло и порезал себе вену. Нас положили в операционной на соседние столы. Мои пол-литра крови, полной батилиманского безумства, перелили этому психу. Мне заплатили триста рублей и дали донорский паек: полкило сахарного песка и килограмм крупы.

Жив ли ты, милый псих? Ты меня здорово выручил. И прости, пожалуйста, за ту бурду, которую перекачали тебе из моих вен.

Я купил билет до Свердловска, но по дороге, в Москве, сошел с поезда и, очутившись на Сухаревке, открыл свой чемодан и встал в ряд с продавцами толкучего рынка. Расторговав все, что было в моем чемодане, я взял билет в Киев.

— Зачем вы приехали? — спросила меня Катя. — Игорь все знает, он простил меня.

Мы стояли на Владимирской горке, на узком мостике, над обрывом. Далеко внизу, у самой днепровской воды, бродил спиной к нам Астахов. Я различал его коротенькое, ненавистное мне сейчас туловище.

— Представляю себе, — сказал я, — как вы валялись у него в ногах, вымаливая прощение.

— Но я люблю его, — сказала Катя.

Пятый угол

— Какого же черта вы спали со мной в Батилимане?

— Не мучайте меня, — взмолилась Катя. — Бывает же такое несчастье, что любят двоих.

— Бывает, — заорал я. — У шлюх, будьте вы прокляты, все бывает!

Она не побежала за мной, когда я мчался вниз с этого мостика, не окликнула меня, не заплакала в голос.

Оглянувшись, я увидел: она медленно спускалась к Днепру. Навстречу ей шел Астахов; неуверенное, жалкое счастье перекосило его лицо.

Софья Львовна, учительница русского языка в той школе, где я учился, вызвала мою мать.

— Скажите, пожалуйста, — спросила Софья Львовна, — ваш мальчик живет дома в нормальных условиях?

— По-моему, в нормальных, — ответила моя мать.

— Вы не замечали за ним никаких странностей?

— Ничего такого особенного, — сказала мама. — Он не очень любит мыть ноги перед сном, но я его заставляю.

— Вы его бьете?

— В буквальном смысле — нет. Случается, конечно, ущипнуть ребенка... Он что-нибудь натворил в гимназии?

— Видите ли, — сказала Софья Львовна, — ваш сын пишет очень грустные сочинения. В про-

шлый раз классу была задана тема: «Как я провел лето»...

— Это лето мы провели в Покатиловке, — сказала мама. — С продуктами там было неважно.

— Он не жалуется на питание, — сказала Софья Львовна. — Он вообще ни на что не жалуется. Он веселый мальчик. Но его сочинения носят какой-то грустный характер, необычный для этого возраста.

Мама хотела выручить меня. Она сказала:

— Может быть, у него глисты? Я постараюсь проследить.

Глистов у меня не было. Почему я заполнял ученические тетрадки печальными выдумками — неизвестно. Впрочем, уже гораздо позднее я заметил: в России только сумрачные люди пишут веселые сочинения.

Что-то должно начаться позже, потом — так мне представлялось всегда. У меня никогда не было ощущения, что то, как я живу в данное время, будет длиться долго. У меня и сейчас, в шестьдесят лет, нет ощущения постоянства своего места на земле.

Все может еще сложиться иначе, чем сложилось. Не знаю, многим ли кажется, что их судьба случайна? Быть может, это характерно для време-

ни, в котором мы живем? Быть может, как бы причудливо ни складывалась судьба каждого человека, есть нечто общее в том, как он оглядывается на свое прошлое?

Определяя меру своего участия в окружающей действительности, я прихожу к ничтожным результатам. Вернее, мне неизвестна шкала, по которой следует вести отсчет. Мне неизвестна единица измерения. Мне ничего не известно даже назад. Я не могу уловить закономерностей: могло быть так, могло быть иначе.

Как и у всех, у меня было немало возможностей погибнуть — я не погиб. В этом нет ни моей вины, ни заслуги. От меня ничего никогда не зависело — вот главный вывод, к которому я прихожу.

Кто мы — мое поколение?

В острые мгновения эпохи это понятие поколения все более укорачивается. Смена, как в бою, приходит все чаще. Необстрелянные новобранцы иронически посматривают на ветеранов. На фронте так не бывает.

Поколение, истерзанное бессонницей.

Лучшие свои поступки мы совершаем под утро, лежа в постели с открытыми глазами. Бесстрашные и бескорыстные, очертя голову бросаемся на рожон за справедливость. Развернутые знамена нашей совести полощутся на ветру правды. Ворочаясь в потных простынях, в глухой тьме ночи, мы произносим об-

личительные речи. Сколько их, этих ночных речей, я произнес под грохот своего сердцебиения! Двери высочайших приемных распахивались передо мной настежь. Трибуны ораторов освобождались для меня тотчас. Я ничего не просил для себя. Простота моей ночной логики сводилась к тому, что честному человеку должно быть хорошо, а негодяю — плохо. Я освобождал людей из тюрем, я отдавал под суд клеветников, я снимал с пайка бездарных лицемеров и циников. Чистая, как спирт, правда пьянила меня по ночам. Я обпивался ею до одури.

Кто мы — мое поколение?

Мечтатели в двадцатых годах, поредевшие и питанные в тридцатых, выбитые в сороковых, обессиленные слепой верой и не набравшие сил от прозрения, мы бредем в одиночку. Мы трудно-соединимы. Глядясь друг в друга, как в зеркало, мы поражаемся собственному уродству.

Но мы хотели как лучше.

Воспоминания неуправляемы. Притаившись до времени, они живут в человеке навалом, взброс и внезапно обрушиваются на него вне всякой последовательности и вне связи с тем, что окружает его сегодня...

Рослый узбек шел впереди меня. Он шел легко, широким шагом, несмотря на мой тяжелый багаж:

мягкий тюк с Катиными вещами узбек нес на своей крепкой бритой голове, а длинный тяжелый чемодан он перекладывал в пути из руки в руку.

Узбек оглядывался на меня, улыбаясь во все свое большое лицо. Адрес я ему сказал еще на перроне — улица Энгельса, 15, — и теперь он уверенно вел меня по теплым ташкентским улицам.

В этот ночной час город уже остудился от жары. Сквозь кислый смрад эвакуопунктов, теплушек и вокзалов, стойко забивший мои ноздри, пробивался сейчас легкий, летучий запах отдыхающей зелени.

Мне казалось, что я не иду, а плыву в этом внезапном покое. Никаких усилий не требовалось от моего усталого тела, оно не испытывало враждебного сопротивления среды. Я шел, одуроченный тишиной, темным простодушным небом, в котором позванивали незнакомые мне веселые звезды.

Отпустив узбека у дома номер пятнадцать, я присел на крыльцо и перемотал тряпье, которым были обмотаны мои распухшие ноги. Они были обуты в просторные галоши, подвязанные бечевкой.

Дом спал.

По его одноэтажному фасаду чернели пять окон.

Я пытался угадать, которое Катино. Странно — торопливость не колотила меня. Я мог бы и дольше

сидеть на этом крыльце, окруженный сладким неправдоподобием. Блокадный голод вышиб из меня нетерпение. Он выпарил из моих жил все страсти, кроме желания существовать.

На мой стук дверь открыла Люся. Эту толстуху зовут Люсей — Катя писала мне о ней.

Она сказала:

— Ой, вы приехали! А Катя ушла ужинать...

Что-то заметалось на ее толстом сонном лице. Мы внесли мой багаж в дом.

Люся не зажгла свет в той комнате, куда мы вошли, но по запаху я понял, что это Катина комната. Все, что происходило в эту ночь, добиралось до меня медленно, застревая и разжижаясь по пути. Быть может, мое истощенное тело оборонялось именно так: оно подбирало для себя посильные эмоции.

Уличный фонарь слабо освещал комнату, я осторожно рассматривал ее. Попадались на глаза отдельные Катины вещи — какое-то платье на гвоздике, истоптанные домашние туфли, теплый клетчатый платок. Но это была ничья комната, как бывает ничья земля.

Возле аккуратно застланной постели на тумбочке стояла в рамке чья-то фотография. Люся, толстуха, заслоняла ее своим испуганным задом.

Я сидел на коротком диване, не снимая пальто.

— Может, вы хотите умыться с дороги, я вам солью, — сказала Люся.

Пятый угол

Я снял пальто и попросил вынести его во двор — в нем могли быть поездные вши.

На фотографии был изображен по пояс мужчина в чистой белой рубашке, с галстуком. Он держал в зубах не самокрутку, а папиросу.

Умывался я в сенях над тазом. Люся сливала мне из кувшина. Она смотрела на черную воду, стекавшую с моих рук и лица. Мне хотелось помыться до пояса, но я знал, что нижняя фуфайка присохла к лопнувшим на моей спине чирьям — в этих местах ее надо было отмачивать теплой водой.

А Кати все не было.

Я не испытывал беспокойства по этому поводу — волновалась Люся. И от волнения, мне непонятного, она говорила не останавливаясь. Я не очень вслушивался в смысл того, что она произносила. Когда мы вернулись из сеней в комнату, фотографии на тумбочке уже не было; вероятно, Люся успела убрать ее.

Это тоже мне было безразлично. Я ничего не додумывал до конца. От додумывания до конца можно умереть. Нельзя думать назад и нельзя думать вперед — вот к чему я приучил себя в блокадном Ленинграде.

А Катя все не шла. В соседней комнате время от времени били часы.

— Ой, — сказала Люся, — уже двенадцать! Я пойду к ней навстречу.

Мы пошли с ней вдвоем, я увязался за Люсей. Кажется, ей не хотелось идти со мной, но мне было наплевать.

Катю мы встретили по дороге, она шла домой. Толстуха первая заметила ее. Заметив, она побежала ей навстречу и быстро залопотала что-то, чего я не мог разобрать, да и не пытался. У меня все еще было ощущение, что я остался в Ленинграде, а здесь идет по ташкентской улице кто-то другой, до которого мне не так уж много дела. Я был спокоен за него — метроном не тикал, снаряды не рвались, часа два назад он умял в вагоне буханку хлеба.

Приостановившись, Катя дослушала толстуху. А я шел. Я приближался к ним в рост, не пригибаясь.

— Здравствуйте, — сказал я, дойдя до них.

— Кто вы такой? — спросила Катя.

— Ты с ума сошла, — сказала толстуха. — Это же Боря.

— Я не знаю, кто такой Боря, — сказала Катя.

Мы пошли рядом.

«Вот и все, — вяло думал я. — Оказывается, не так уж сложно».

Огромность того, что сейчас произошло, была не по мне. Это свалилось рядом со мной, я видел, что оно рухнуло, но именно потому, что оно

Пятый угол

обвалилось бессмысленно и сразу, я не ощутил сотрясения.

В общем-то меня стукнуло крепко — я не помню, как мы дошли до дома.

Люся исчезла. Катя включила электрическую спираль, вставила ее в кувшин с водой, но, когда вода вскипела, мы не стали пить чай.

Я спросил у нее:

— Это тот человек, что стоял у вас на тумбочке?

— Да, — сказала Катя.

— Давно?

— Полгода.

— Почему же вы не написали мне?

— Я сопротивлялась этому, — сказала Катя. — Я думала, что это пройдет.

— Здорово же вас забрало, если вы не узнали меня.

— Не потому, — сказала Катя. — Я накурилась анаши. Он уехал неделю назад совсем. В Варшаву. Он поляк... Боже ты мой, если б вы знали, как мне плохо. Я совсем не умею жить одна...

— Все не умеют, — сказал я.

— Я была совсем одна. Я была такая одна...

— И он вас пожалел?..

— Он меня ужасно жалел.

Я спросил:

— Сколько раз в ночь он вас жалел?

...Из Свердловска я уехал внезапно. В том возрасте я все делал вдруг. Расстояние от возникшего желания до поступка было ничтожно. Я знал тогда только один способ избавления от досаждающих обстоятельств жизни — бегство. Нужно все бросить. Бросить к чертям. Начать сначала. Мне казалось, что в новых обстоятельствах я и сам стану иным.

В юности мы видим себя самобытней, чем мы есть. Мы не в силах уловить свою общность с другими. Нам кажется, что мы вне типа. Мы гиперболизируем свою самостоятельность и независимость. И как горестно, что мы теряем это с годами! С годами ярмо типического натирает нам холку до крови. И зеленые мухи повседневности кружатся над нашими язвами.

Тебе что — больше всех надо?

Не надо мне больше всех.

И вот я снова брожу по Ленинграду. У меня нет комнаты, нет денег, мне двадцать пять лет.

Я брожу по улицам, вчитываясь в вывески учебных заведений. Странное время, еще не пропитанное ядом бдительности. Кирова еще не убили. Прямо «от ворот» меня берут преподавателем математики в военное училище.

В командирском общежитии я получаю отдельную комнату. Мне выдают синюю диагональ на брюки-галифе, зеленую саржу на гимнастерку, шинельное сукно и хромовый крой. Две пары

белых бязевых кальсон довершают мое военное обмундирование.

Я не командир, я вольнонаемный. Я называюсь «товарищ преподаватель», но козырять мне положено. Когда я появляюсь на пороге класса, грохочут курсантские сапоги — единым махом группа взрывается из-за столов, староста рапортует мне, окаменевая по стойке «смирно».

Эта игра в солдатики нравится мне. Петлицы на моем обмундировании пустые, без знаков различия. В военторге я купил две шпалы и, воткнув их по одной в обе петлицы своей гимнастерки, пошел в театр. Выходить в фойе было боязно, но, преодолев страх, я сделал два-три круга в толпе. И казалось мне, праздная штатская публика любовалась стройным боевым командиром.

В маленьком кинотеатре «Рампа» меня застиг в этом воинственном виде начальник штаба училища комдив Львов. Напоровшись на него лоб в лоб, я попятился и ухватился рукой за свое горло, чтобы скрыть от комдива покупные шпалы на моих петлицах. Угрюмо скользнув взглядом по моей остолбенелости, он прошел мимо.

Я встречаю его нынче, дряхленького, худенького и прямого, как гвоздь, в книжных магазинах. Далеко отнеся от своих строгих глаз руку с книгой, он подолгу листает ее тут же у магазинных полок. Я заметил: чаще всего это — стихи.

Нелюдимого и желчного, его почитали и боялись в училище. Чувство робости и уважения к нему сохранилось во мне и сейчас.

Товарищ начальник штаба, комдив Львов! Разрешите обратиться к вам через тридцать лет после того, что произошло?

Может, вам не следовало выгонять меня из училища? К тому времени, когда это случилось, я проработал у вас три года. Курсанты относились ко мне хорошо. Преподавая совершенно непрофессионально, я все-таки обучал их не хуже других учителей. Может быть, даже лучше. Незрелость моего педагогического умения восполнялась любовью. Это бывает, поверьте мне, товарищ комдив Львов.

Вы пришли на мой урок в шестую группу радистов внезапно. Вы отлично знали математику, знали штабное дело, вы были замечательным строгим командиром, старой, офицерской, еще времен царской армии выучки. В училище поговаривали, что до революции вы застрелили из ревности свою жену. Если это так, то люди, подобные вам, стреляют в своих жен только в случае крайней необходимости.

Когда вы внезапно вошли, впервые за три года, на мой урок, я растерялся. Неумело отдав вам рапорт — а вы этой неумелости терпеть не могли, — я вернулся к доске. Вы сели с краю последнего стола.

Темой моего урока было деление обратно пропорциональных величин. Это паршивая тема, товарищ комдив, она трудно усваивается в общем виде. Я всегда излагал ее самым доморощенным образом, но, честное слово, мои курсанты понимали меня недурно. Ваше суровое присутствие парализовало меня. Мне бы надо было схитрить и, вместо объяснения новой темы, устроить опрос, вызывая лучших курсантов к доске. Но именно перед вами я не хотел ловчить.

Как назло, в то утро у меня раскалывалась от боли голова: полночи я выслушивал жалобы жены комбата на своего мужа. Это была обычная история в нашем командирском общежитии. Комбат женился на подавальщице еще в то время, когда он был комвзвода. Три субботы он ухаживал за ней, имея в кармане увольнительную, а в четвертую субботу они расписались. Он тотчас велел ей оставить работу. Она сделала это с удовольствием. Дальше пошло обыденным путем. Комвзвода учился, в его петлицах появлялись новые кубари и шпалы, а жена оставалась бывшей подавальщицей. Накормив утром мужа завтраком, она снова заваливалась в постель и спала дальше, до полудня. Нечесаная, в грязном халате, выходила на кухню. Здесь бродили командирские жены сходной судьбы. Почему-то у нас в училище считалось, что жена командира не должна работать. В этом даже был особый шик. Крепдешинное платье, фельдиковские чулки и лакированные лодочки — униформа,

в которую они обряжались. Первого мая и Седьмого ноября. В сущности, эти бедные женщины были глубоко несчастны. Жена комбата полночи проплакала на моем плече все на ту же тему:

— Он меня совершенно не уважает.

Я был единственным холостяком во всем нашем длинном коридоре. У меня искали утешения оскорбленные жены и затосковавшие от их убожества мужья.

В четыре часа утра мне удалось уговорить комбата. Он вышел из своей комнаты, заспанный, босиком, в шинели, накинутой на белье.

Подойдя к жене, он сказал:

— Ну, чего, в самом-то деле, Тоська... Ну, будет. Постеснялась бы товарища преподавателя.

Тося расплакалась еще пуще.

— Обстирываю... Горячее готовлю... Слова со мной не скажешь...

— Учти, — сказал комбат, — я же устаю... — Он обернулся ко мне и произнес сквозь зубы:— Да ну ее к чертовой матери.

— Вы подойдите к ней, — шепнул я.

Он неохотно приблизился еще на шаг.

— Развела, честное слово, психологию... Жалованье приношу все до копейки. Оставляю себе на партвзносы и на курево... Рожна тебе надо, Антонина!..

Она уткнулась ему в грудь:

Пятый угол

— Поговори со мной, Костенька.

Комбат украдкой, через ее плечо взглянул на свои часы.

— Ну ладно, — вздохнул он. — Я не против. Пошли, поговорим.

Наутро, после этой бессонной ночи, вы внезапно пришли на мой урок, товарищ комдив. Сорок пять минут я корчился на ваших глазах у доски, пытаюсь растолковать курсантам деление обратно пропорциональных величин. Курсанты жалели меня, и вы это видели.

Серый от гнева, вы сидели с краю последнего стола. Назавтра я был вызван в штаб...

— В ваших документах, — сказал комдив, — отсутствует диплом об окончании высшего учебного заведения.

Я молчал.

— Он утерян? — спросил комдив.

— Нет, — сказал я. — У меня его никогда не было.

Комдив разговаривал со мной, не подымая головы: перед ним лежала тоненькая папка с моим личным делом.

— Потрудитесь объяснить, на каком основании вы занимаетесь преподавательской работой.

Мне было все равно. Я ответил:

— На основании любви к этой работе.

Он быстро посмотрел на меня:

— Вас надлежит отдать под суд за ложь. Званием педагога вы пользуетесь незаконно. Вместо того чтобы поступить своевременно в институт и получить диплом...

— Товарищ начальник штаба, — сказал я, — четыре раза я поступал своевременно. У меня пятая категория, я сын частника.

Он долго молчал. Я даже подумал, не забыл ли комдив обо мне. Утомившись стоять смирно, я переминался, рассматривая стены аскетически нищего кабинета.

— В вашей трудовой книжке, — донесся до меня голос комдива, — имеется несколько благодарностей. Полагаю, они подлинные?

Я кивнул.

Теперь он смотрел на меня не отрываясь, но не в лицо, а пониже — в грудь. И взгляд у него был рассеянно-задумчивый, словно сквозь меня он видел нечто совсем иное, о чем ему следовало вынести свое суждение.

— Я увольняю вас, — сказал наконец комдив.

Уже дойдя до двери, я услышал его раздраженный голос:

— Ваше увольнение будет оформлено по сокращению штатов.

Пожалуй, вы были правы, Александр Васильевич. И спасибо за то, что вы не испортили мне трудовую книжку.

Если прибегнуть к терминологии, принятой в естествознании, то я пытаюсь анализировать свою жизнь на молекулярном уровне. При анализе ее на уровне организма оказывается, что долгие годы мы мало отличались друг от друга. Была возможность рассматривать нас в среднем. Для упрощения процесса мы стали называться «кадрами». Иногда терминология соответствует самому принципу, она исходит из этого принципа.

Кадры решают все, сказал Сталин. Он не мог бы оперировать формулой «люди решают все», потому что понятие «люди» было для него лишним и даже обременительным. Люди действительно могли бы решать все; что же касается кадров, то они взаимозаменяемы — их нужно считать, но с ними можно не считаться.

Мне кажется, никогда еще не было такой массовой потребности осмыслить свое прошлое, какое наблюдается у людей сейчас. Наше прошлое загадочно. Оно загадочно не столько по фактам, которые когда-нибудь еще и еще вскроются, а психологически.

Для меня это именно так. Фактов мне хватает. Я сыт ими по горло.

Я нищ методологически.

Факты не могут объяснить самого для меня главного — психологии людей.

Забираясь назад, вглубь, каждый из нас останавливается в том пункте, далее которого ему идти

уже невозможно; молодым людям проще — они идут налегке, не обремененные соучастием. Я говорю о соучастии не криминальном. Молекулярный уровень анализа позволяет мне рассматривать соучастие даже в мыслях. «Это было при мне, и я был с этим согласен» — вот что я имею в виду. Вот тот пункт, подле которого замедляется шаг, когда мы бредем назад, в собственную жизнь. Подле этого пункта мы занимаем круговую оборону и отстреливаемся до предпоследнего патрона, потому что последний бережем для себя.

Для меня это — революция, Ленин и начало двадцатых годов.

И чем яростней я отстреливаюсь с этой высоты, тем загадочней для меня то, как это продолжилось.

Вера невежественного человека в Бога накапливалась тысячелетиями. Она передавалась из поколения в поколение. Лицемерие религии было относительным — она не сулила царства небесного на земле. Она лгала про райские кущи. Понятие Бога было умозрительным. Вернее, оно становилось все более и более умозрительным по мере накопления культуры человечества.

И внезапно бог оказался рядом с нами. Он возник в той стране, которая стала почти полностью антирелигиозной. Этот бог был вполне конкретен. Он ходил в высоких, ярко начищенных сапогах, во

френче, в фуражке полувоенного образца. Иконы с его изображением выпускались типографским способом, миллионными тиражами.

В молельные дома превращались даже комнаты коммунальных квартир.

Общие собрания стали походять на хлыстовские радения.

Сектанты истязали себя на глазах единоверцев.

Этот бог был жесток. Он карал не на том свете, а на этом. И чем больше он карал, тем исступленней в него верили. Никто из апостолов не предал его — он сам предавал их всех.

От возникновения христианства до веры миллионов людей в Христа прошли столетия. Новый бог возник после смерти Ленина, а трепетная, слепая вера в него охватила сотни миллионов в течение пятнадцати — семнадцати лет.

В типографии не хватало букв для повседневного упоминания его имени. Он был всезнающ — его нарекли «корифеем всех наук». С ним согласовывали форму крыла самолета, мутации пшеницы, КПД тепловозов, вопросы языкознания, точные сроки расщепления атома, тематику кинофильмов, историю, философию, литературу...

Он был всевидящ и всеслышащ — глазами и ушами доносчиков. Из тайного и постыдного ремесла доносительство стало почетным гражданским долгом.

Он был всемогущ и вездесущ — его архангелы выволакивали людей по ночам из теплых постелей, снимали с поездов, задерживали на улицах, подстерегали с ордерами в театрах.

Императоров, помазанников Божьих за это ненавидели, душили, стреляли и свергали.

Новый бог был обожаем.

Его славили в песнях и в гимнах, его отливали в бронзе, высекали из мрамора, расписывали маслом, изображали на сцене и на экране. Именем его называли города и села.

Его изучали в яслях, в детских садах, в школах и в университетах.

Голодая, люди благодарили его за сытость. Погибая от его руки, выкрикивали здравицу в его честь.

Этому я был свидетель.

И этого я не могу понять.

Попытки объяснить эту загадочность людской психологии постоянным страхом несостоятельны. Страх, и только страх, не в силах был бы удержать двухсотмиллионное население на протяжении тридцати лет в молитвенном преклонении.

Есть и другое объяснение. Оно также не кажется мне исчерпывающим.

Говорят, что он был выразителем и исполнителем той идеи, осуществление которой — давняя мечта человечества. И свою любовь к этой мечте мы фокусировали в нем.

Пятый угол

Возможно, на первых порах дело обстояло именно так. Но уже через несколько лет творимое им жестоко противоречило этой идее, попирало ее, заливало ее горем и кровью. Несоответствие слова и дела мог бы заметить ребенок, но не замечали его взрослые, разумные люди. Либо замечали и говорили, что так и надо.

Истории нельзя задавать вопрос: что было бы, если бы?.. Истории этот вопрос противопоказан. Она всегда закономерна. Что было, то было — она рассуждает только так.

Не надо мне этой закономерности.

Я хочу знать, что было бы, если бы этого не было.

И что будет.

Уволенный из военного училища, я вскоре устроился: Институт связи зачислил меня преподавателем ФОНа — факультета особого назначения.

За этим таинственным названием ничего загадочного не скрывалось: на ФОНе учились директора почтамтов, завтелеграфами, всякие начальники-связисты.

Эти студенты по своей подготовке мало отличались от комвузовцев. Разве только тем, что они знали связистское дело, в их руках была определенная профессия.

ФОН имел свою специфику: в группах этого факультета насчитывалось всего по три-четыре студента. Бывало, что группа состояла из одного-единственного студента, он стоил дорого, к нему было прикреплено столько же преподавателей, сколько к нормальной студенческой группе.

Эта система обучения существовала в те годы не только в нашем Институте связи. Она была обширной. Необходимость ее была вызвана тем, что начальству становилось все трудней руководить делом без элементарных знаний: грамотность подчиненных возрастала с каждым годом, да и само дело усложнялось.

Работать на ФОНе было скучновато — это смахивало на репетиторство. Усилия преподавателя, спружиненные в нем для воздействия на десятки людей, выдавливались, как из тубика, на одного человека. Учились мои студенты-фоновцы без особой охоты: им нужна была только справка об окончании факультета.

Институтских аудиторий не хватало — нередко фоновцы ходили ко мне на дом. И отношения у нас складывались полудомашние. Ставить двойки в стенах своей комнаты, в сущности, гостю было сложнее — испытываешь при этом некую неловкость. Да и постепенно мне начинало казаться, что этим студентам не так уж нужна моя обкромсанная математика.

Как учитель я становился равнодушной.

Недовольство собой все сильнее охватывало меня.

Шли годы, остывал азарт учительства, исчезала радость открытия и узнавания, я становился холодным ремесленником.

Моя жизнь не получалась. Она проходила как бы в двух непересекающихся плоскостях, и в обеих была убудочной: я был ненастоящим учителем и у меня не было своего места на земле. Ощущение временности того, что я делаю, и того, как я живу, все глубже захлестывало меня.

...Это верно, Зинаида Борисовна, — время от времени я занимался литературным баловством.

Саша писал стихи — вы это знаете. В ту пору почти все мои друзья сочиняли стихи. Время, что ли, было такое? Меня эта страсть не коснулась. Когда во мне возникало желание выговориться поэзией, я кричал чужие стихи — этого вполне хватало. Громко читая их, я как бы сам переселялся в эти строчки и гордился тем, что живу в них, что мне удалось так превосходно высказаться.

Наше тогдашнее отношение к поэзии было иным, нежели нынче. Я не ждал и не требовал от стихов, чтобы они объяснили мне окружающую действительность. Я даже влюблялся в стихи, не до конца мною понятые. Поэтическое бормотание волновало меня, как знахарство, как магия.

Не помню я и деления поэзии на лирическую и гражданскую. На смелую и трусливую. Мне и моим друзьям не нужно было разъяснять в рифму преимуществ нового социального строя. И оборонять его от нас тоже не надо было. Вероятно, мы испытывали потребность, чтобы стихи — если уж они что-нибудь должны объяснять — объяснили нам нас же самих.

Мы были хорошими читателями. Нам и в голову не приходило, что мы можем подсказать поэту, о чем и как он должен писать. Хороший поэт для меня и сейчас — колдун. На каких травах настояны его стихи — тайна для меня; если бы я в нее проник, колдовство бы исчезло.

До моего уха доносились глухие раскаты боя между литературными направлениями, невнятица их названий катилась мимо, я любил поэтов и враждовавших между собой. Гораздо позднее я узнал их тогдашние теоретические декларации, и, как правило, эти декларации только снижали обожание моих кумиров. Мне кажется, что читатель должен всегда испытывать разочарование при близком знакомстве с любимым поэтом. Гениальные стихи всегда лучше, чище и оглушительней самого гения, ибо в стихах выражены самые высокие его свойства.

Имею ли я право рассуждать об этом, Зинаида Борисовна?

Получилось так, что ваши письма о Саше Белявском пустили в ход какой-то механизм внутри меня, и теперь он тикает вне зависимости от моей воли. Я потерял контроль над ним. Прошое беспорядочно мечется во мне. Казалось бы, при этом я должен с лунатической легкостью излагать события своей жизни. Почему же мне так трудно пишется?

Литература не стала моей профессией. Я — любитель. Мое сочинительство возникло случайно.

Живя в Дудергофе, в лагере, и обучая курсантов военного училища математике, я люто скучал вечерами. Отлучаться в город не разрешалось. Возможно, от скуки я сочинил маленькую рукопись. Она была напечатана, но это несколько не изменило моих жизненных намерений. Профессия учителя по-прежнему увлекала меня, хотя я продолжал чувствовать себя в ней все менее уверенно. Тщеславие литератора не пустило во мне серьезных корней — я исписался тотчас же, в первой же рукописи. И моя жизнь как бы утратила свою целенаправленность: не став литератором, я постепенно переставал быть учителем.

Как всегда бывает, я понимаю это сейчас гораздо полнее и лучше, нежели понимал тогда. Беспокойство, одолевавшее меня тогда, привело только к одному — еще сильнее я затосковал по Кате.

— Мы тут посоветовались, — сказал директор института, — и решили, что освободившаяся комната в квартире Сиповского может быть предоставлена вам.

Я все еще жил в командирском общежитии, откуда меня вяло, но настойчиво выселяли.

— Вот ордер, — сказал директор, не глядя на меня. — Вам следует как можно скорее занять площадь. У вас мебель, вероятно, казенная?

Я кивнул.

— Купите какую-нибудь табуретку или стул, соберите свой скарб и завтра же с утра займите площадь. На двери повесьте замок. У вас есть замок?

Я спросил:

— А разве жена Григория Митрофановича не знает, что вы даете мне ордер?

— Не знает. И не должна знать. До той минуты, пока вы внесете свои вещи на освободившуюся площадь. Иначе начнется волынка, и институт ее потеряет. А я зубами вырвал ее в райсовете.

— Мне не хотелось бы... — начал я.

— Не хотелось бы — не берите, — сказал директор. — Из остро нуждающихся следующий на очереди пожарник Алексеев. Он на учете в диспансере. У него три раза в год запой. Заблюет всю квартиру Сиповского.

Я взял ордер.

В тот же вечер я позвонил жене Григория Митрофановича. Мы были мало знакомы с ним — он работал на кафедре политэкономии, а жену его я и вовсе не знал. Рассказав ей разговор директора со мной, я посоветовал ей сходить в юридическую консультацию и попытаться отхлопотать кабинет репрессированного мужа, хотя бы до вынесения приговора.

— Срок действия ордера — месяц, — сказал я. — Если у вас ничего не выйдет, пожалуйста, сообщите мне, что вы решили.

Через три дня я получил городскую телеграмму:

Умоляю вас переезжайте

Так и не купив табуретки и замка, я переехал в бывший кабинет Сиповского. Мне уже было не привыкать жить в квартире арестованного. Второй раз получалось, что, нарушая налаженную жизнь людей, я как бы делаю им одолжение.

С Евгенией Марковной мы прожили в одной квартире недолго. Месяца через полтора после моего переезда она получила повестку из райотдела милиции — ничего хорошего это не сулило.

Я пошел с ней, она была в плохом состоянии.

У райотдела, в скверике подле памятника Ломоносову, я подждал Евгению Марковну, держа

на коленях ее годовалую дочь. Ждать пришлось долго — потом я узнал, что Евгении Марковне стало дурно в кабинете начальника. Ее отпоили водой, вручив предписание выехать из Ленинграда в Казахстан в течение трех суток.

За два последующих дня была продана за бесценок вся мебель. Комиссионные магазины ломались от имущества репрессированных. Шкафы, рояли, буфеты волоклись по лестницам, выволакивались сквозь оконные проемы на веревках.

В пустой, замусоренной и затоптанной сапогами грузчиков комнате со следами содранных с обоев фотографий мы попрощались с Евгенией Марковной.

Из распахнутых настежь дверей и окон дул сквозняк.

Весна ли это была или осень, я не помню.

На дворе стоял тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

Моим новым соседом по квартире оказался Кеша Валдаев. Его звали, кажется, Иннокентием Ивановичем, мы были одногодками и вскорости перешли на имена и на «ты».

Кеша служил в НКВД, в какой-то охране. Кого он охранял и от кого, я в точности не знал и не любопытствовал, хотя, бывая изредка в театрах, встречал иногда Кешу в фойе: двухметрового роста, широкоплечий, он с озабоченным лицом отти-

рал своим мощным корпусом гуляющих в антракте зрителей от какого-то невидимого мне человека, вышедшего из правительственной ложи.

Лет пять назад он умер, Кеша Валдаев. Задолго до смерти его демобилизовали в чине майора госбезопасности. Я встречал его последние годы все реже. Мне кажется, он был недурным человеком. Сын повара, заводской токарь в прошлом, попавший по комсомольскому набору в НКВД, он не был ни следователем, ни оперуполномоченным — за рост и силу его сразу определили в охрану работников Смольного.

Что-то в нем было совестливое, в Кеше. Что-то изумляло его еще тогда, в те годы. Не знаю, чем было вызвано доверие Кеша ко мне, но, даже когда мы жили уже в разных концах города, он в канун праздников присылал мне билеты на трибуну у Зимнего.

Я бывал у него в гостях. Кроме меня, за длинным, фантастически сытным столом сидели только Кешины сослуживцы. Глядя на них, я испытывал такое кровянящее любопытство, что не ощущал вкуса еды. К тому времени у меня уже не было никаких иллюзий относительно характера их работы. Я разговаривал с ними о каких-то пустяках, выслушивал их шутки, танцевал с их женами, но единственной моей мыслью, мозжившей меня при всем этом, было: а вчера, а завтра утром? Что

вы делали вчера и что вы будете творить завтра утром?..

Поздно ночью мы вышли с Кешей проветрить свои хмельные головы. Может быть, он был пьян несколько больше, чем я. Даже при свете фонарей я различал его бледное лицо.

Я спросил:

— Устал, Кеша?

— Устанешь, — сказал он.

Мы стояли на набережной. Праздник кончился вчера, но еще посверкивала кое-где иллюминация. В этот поздний час не было прохожих.

Кеша хватил вдруг своим литым кулаком по гранитному парапету. И самое странное — рассмеялся.

— Вот работенка! За трое суток спал часов пять, не более. А почему, знаешь?.. Бомбы искал, адские машинки...

— Какие? — не понял я.

— А хрен их знает... Сколько служу, столько ищу. За двенадцать лет ни разу ни фи́га не нашел.

— А надо? — спросил я.

— Еще как! — оскалился Кеша. — На заводах — план, и у нас — план.

Я молчал, ожидая, что в следующую секунду он испугается того, что сейчас сказал мне. Но он не испугался.

— Можешь ты объяснить, — спросил Кеша, приблизив ко мне свою одеревенелую улыбку, — на кой в наших органах план? Чего планировать-то?

Он спрашивал не у меня. Я мог не отвечать.

Мы снова долго не виделись. До меня донеслось, что Кешу вывели на пенсию. По своему возрасту он мог бы еще служить, но, очевидно, убирался очередной слой старых работников.

В году пятьдесят шестом мы встретились в последний раз. И поссорились.

Кеша пришел ко мне с просьбой: его сын поступал в институт, недели за две до экзаменов его следовало погонять по программе. Об этом мы договорились тотчас. Однако, думая, что Кешу радуют события последнего года, я сказал:

— А хорошо, брат, что мы с тобой дожили до этих дней! Слава богу, услышали наконец правду.

Он брюзгливо посмотрел на меня:

— А чего хорошего? Натрепались на весь мир.

— Так ведь правда же! Ты-то, Кеша, лучше меня знаешь, какая это страшная правда.

— Ну и что? Я — знаю. А трепаться ни к чему. Кому от нее легче, от этой правды? Думаешь, от нее веры больше будет? Себя же и осрамили на весь мир.

Я возмутился:

— Значит, по-твоему, надо было оставить невинных людей в тюрьмах и лагерях?

— Зачем? Тихо надо было. Без болтовни. Сажали тихо и выпускать тихо.

— А те, что погибли?

— Возродятся они от этого, что ли? — Кеша вздохнул тяжело и искренно: — Взвалили всю вину на ребят из органов. Безобразия были, это мне известно. А в целом получается дискредитация.

Мне уже к тому времени доводилось слышать мотивы подобного рода, поэтому я смотрел на Кешу со скучным ожесточением. Вероятно, он это почувствовал. Его лицо, и до того красное — он был гипертоником, — сейчас стало угрожающе сизым.

— Ты как себе, интересно, представляешь: захотел следователь и посадил, да? Захотел и дал в рыло?.. Пешка он, следователь, понимаешь! Ноль без палочки. У него приказ есть, он исполняет. Ты бы служил, и ты б исполнял.

— Я не служил, — сказал я.

— А другие служили, — сказал Кеша. — У тебя есть выпить?

Я налил ему полстакана водки, налил себе, но пить не стал, он этого не заметил.

— А порядка больше было, — сказал Кеша. — Народу власть нужна. Крепкая. Чтоб был авторитет. Наш мужик без этого не может. И работяга — не может.

— А ты? — спросил я.

Пятый угол

— Что я?

— А ты можешь?

— И я не могу. Поумней нас люди есть. Они приставлены к этому делу — думать в государственном масштабе. Плесни еще.

Я придвинул ему свой невыпитый стакан. Мне хотелось, чтобы он поскорей ушел. С ним произошли какие-то необратимые изменения. Раньше он не пьянел, а только чугунел от водки. А сейчас движения его стали приблизительными, глаза, разжиженные алкоголем, обесцветились.

Я спросил:

— Кеша, а ты бил кого-нибудь?

— Но-но! — сказал Кеша и погрозил мне пальцем.

Поссорились мы перед самым его уходом. Уже в прихожей он обнял меня на прощанье.

— А за Вовку моего — спасибо. Ты там с директором института поговори или с кем. По-хитрому, по-еврейски...

— Как? — переспросил я.

— Ну а чего особенного, — простодушно засмеялся Кеша. — Ваша нация дружная, не то что наш русский дурак. Вы друг друга всегда покроете...

Я отодвинул его в сторону, открыл перед ним дверь и, невероятно стыдясь за него, за людей, которые его искалечили, за время, в которое я живу, выгнал Кешу из дома.

Дела Игоря Астахова внезапно круто поправились: оказалось, что несложный грим легко превращает его в Сталина.

Театр, в котором работал Астахов, поставил какую-то историческую пьесу, и, когда Игорь выходил на сцену с трубкой в зубах, во френче, коротко стриженный, зрительный зал встречал его овациями. Он был одним из первых актеров, научившихся играть эту роль. И такова была чудодейственная сила роли, что свойства ее и вне спектакля, за сценой, как бы продолжали облучать труппу театра. Уже одно то, что в уборной Астахова постоянно висел на плечиках этот френч, лежала на полочке полувоенная фуражка, стояли на полу сапоги на высоких каблуках, — даже одно только это заставило дирекцию театра пересмотреть свое отношение к Игорю.

Он стал артистом высшей категории.

О нем уже нельзя было сказать, что он играет эту роль плохо, ибо внешнее сходство со Сталиным делало его неприкосновенным.

Те несколько реплик, которые Астахов произносил на сцене с едва уловимым грузинским акцентом, те, знакомые по портретам и хроникам, несколько поз, в которых он показывался в спектакле, переносили его в иную сферу, где воздух был разрежен, где зрителю было трудно и сладко дышать.

На гастролях в Москве Астахова принимали еще более бурно.

Его пригласили сниматься в фильме.

Других ролей, кроме этой, он уже не играл: режиссеры опасались, что он замусорит будничными чертами свою коронную роль.

Бывать в их доме мне становилось все трудней. Мои отношения с Катей остановились. Они дошли до той точки, дальше которой могли двигаться только вспять. После того, что случилось в Батилимане, дружелюбие Астахова стало натужным. Мы не испытывали друг к другу вражды, нас связывала взаимная неполноценность. У каждого из нас Катя отобрала что-то, что было ей дорого и необходимо, из этих частей она составила для себя одного любимого человека, и теперь мы с Игорем не существовали отдельно.

И все-таки ему было легче. Я уходил домой, он оставался с ней.

Изредка меня обдавало кипящее желание мстить за свое бесправие. Но когда я делал это, мне становилось еще хуже. Каждая моя месть унижала меня еще горше.

Обо всем я могу нынче судить издалека. Всю свою жизнь я мог бы пересуществовать начисто, но одного не коснулся бы ни в чем — Кати. Ни боли, ни блаженства. Я не предаю даже презрения к себе, одолевавшего меня временами. Я не пре-

дам жалкого своего места подле нее. Как дай вам Бог любимой быть другим.

...А жизнь их разительно изменилась. Сперва появилась хорошая квартира в Ленинграде. Появилась машина. В доме стали гостить люди, имена которых были шумно известны. Я тихо толкся между ними. Иногда я ловил на себе их любопытствующие взгляды, но все эти люди не позволяли себе задерживать на мне свое внимание.

Мне было трудно.

Я был посторонний.

И не потому, что я жил беднее всех этих людей. И не потому, что я не понимал, о чем они говорят. Я был посторонний их образу мыслей. Этим людей искусства уже закружило в том пыльном вихре бессовестных удач и личного благополучия, сквозь который они не различали подробностей жизни.

Они еще не были циниками. Им еще представлялось, что они не лгут. Им поручали изображать выдуманную жизнь, и даже когда они догадывались, что жизнь эта выдуманная, то они расчесывали себя до состояния искренности, ибо полагали, что есть высшие соображения, по которым им поручают поступать именно так. А те, кто поручал им, видя, как охотно и истово все это исполняется, сперва награждали исполнителей, а затем требовали с них еще большей лжи.

Появилась новая порода людей — хорошо оплачиваемые фанатики. Эта разновидность фанатизма особенно опасна. Они готовы на все — им есть что терять. Их оборона глубоко эшелонирована: там стоят наготове лицемерие и цинизм.

Игоря Астахова тоже подхватило этим вихрем, он кружился вместе со своими неверными друзьями по удаче, но природное легкомыслие не позволяло ему занять определенные позиции. Он был просто и незамысловато счастлив.

Обвалившиеся на него внезапно жизненные блага не изменили его характера. Мне кажется, он не верил в свой талант. Астахов считал, что ему повезло и что этим везением надо пользоваться. Он выжимал из своего положения все, что ему причиталось, но умел вовремя остановиться, если видел, что зарывается.

Катя была умнее его.

Она хотела для Астахова большего. С наслаждением пользуясь нахлынувшим изобилием, она усматривала в нем нечто случайное. А ей мечталось, чтобы оно было заслуженным.

Как и у многих женщин, все ее тщеславие сосредоточивалось на мужчине, с которым она жила. Работа Астахова в театре и в кино представлялась ей недостаточно ценной. Но именно поэтому она всячески старалась доказать и себе и окружающим, что подобная работа требует особого таланта.

Я не люблю этого периода в Катиной жизни. Не люблю вспоминать его, не любил и тогда. В те годы многие из нас опускались на свое дно. У одного человека оно было глубже, у другого — мельче. Одному жилось там привольней, другой испытывал неудобства.

Астаховы переехали в Москву.

Мы виделись редко, расстояние между нами росло.

Я попытался еще раз — теперь уже в последний раз — спастись. Как ни странно, легче всего совершаешь привычные ошибки.

Мне было невыносимо жить одному. Я должен был ради кого-то торопиться домой, кому-то рассказывать, что я ценю и что ненавижу. Мне надо было о ком-то заботиться. Неизрасходованные запасы заботливости, завещанные моим отцом, расщеплялись в моей крови. Я убедил себя, что все это можно делать и без любви. Я считал, что можно начать с того этапа семейной жизни, к которому обычно приходят в ее конце.

И я сделал предложение учительнице английского языка Вере Михайловне Кругловой. Именно так и было: я сделал предложение.

Я сказал:

— Выходите за меня замуж.

Мы шли из института домой, и на трамвайной остановке у Казанского собора у меня окончательно

но созрела эта фраза. Ей почти ничего не предшествовало, кроме моего злого одиночества.

Вера Михайловна уже стояла на нижней ступеньке вагона. Помахав мне на прощанье рукой, она ответила:

— Смотрите — я ведь могу и согласиться.

До этой остановки мы часто ходили вместе. Здесь она садилась на двенадцатый и ехала к себе на Старо-Невский. А я сворачивал по каналу Грибоедова. В институте мы виделись только в перерывах между лекциями. Если сложить все время, проведенное нами вместе, то за год набегало бы несколько дней. Однако так считать не принято. Принято думать, что люди знакомы уже целый год. Я не ошибся в Вере Михайловне. То, что привлекало меня в ней, не поколебалось и потом, когда мы сошлись. Ошибся я в себе.

Спокойствие и положительность, от нее исходившие, действовали на меня целебно. Напряжение, владевшее мной в доме Астахова, необходимость тянуться за Катей, оправдывать то, что она придумывала во мне, — от всех этих усилий я надрывался, живого места на мне не было. Здесь же я мог быть самим собой. Так мне казалось.

Мы съехались. Началась жизнь, которую я сочинил логически. Это был брак, созданный лабораторным путем. Все было в нем на месте. Элементы, его составляющие, входили в сопри-

косновение. Двое не очень молодых людей — мне было под тридцать, Вере Михайловне на пять лет больше, — с отдельно друг от друга сложившимся жизненным опытом и характером, без общих воспоминаний, со страстями, оставленными за порогом, познавали друг друга «в рабочем порядке», на ходу. Часовой механизм брака был запущен с уже ношенными, но непритершимися частями. Да и собраны они были руками халтурщика.

Представляя меня своим друзьям, Вера Михайловна говорила:

— Познакомьтесь с моим супругом.

Я вздрагивал — этого слова не было в моем лексиконе.

Мы очень старались угодить друг другу. Я читал ей вслух, когда она вышивала. Я терпеть не могу читать вслух, но она это любила. И я читал.

Являясь откуда-нибудь домой, она подробно рассказывала мне, каким транспортом приехала и что происходило по дороге. Рассказы были длинные, бессюжетные, в них не улавливался смысл. Она смеялась тому, что мне было совершенно не смешно. И сокрушалась над тем, что оставляло меня равнодушным.

Просыпаясь иногда среди ночи, я всей правой половиной своего тела чувствовал, что рядом со мной почему-то лежит посторонний человек.

Даже Валя Снегирева была мне ближе — у нас был общий город юности.

Летом, на каникулы, я повез Веру Михайловну в Харьков, к родителям.

Моя мать уже притерпелась ко всему: три сына провели через ее дом семь невесток. Это приучило мать к уклончивости в суждениях. Иногда она печально говорила:

— От моих невесток у меня уже немножко рябит в глазах.

К Вере Михайловне она отнеслась с привычным радушием и с хорошо скрытым грустным любопытством.

В Харькове мы пробыли дней десять. Я познакомил свою новую жену с уцелевшими друзьями детства: уже бесследно исчезли Тосик Зунин и Мишка Синьков.

Мы пошли в гости к Саше Белявскому.

Когда-то величественный дог Рекс лежал на своей подстилке, разбитый параличом. Он попробовал встать нам навстречу, но поднялась только передняя часть его туловища, увенчанная тяжелой костистой головой. Приветливо зашатавшись, он снова лег.

Все в Сашином доме одряхлело и потускнело: два ковра, на стене и на полу, пожелтевший нож из слоновой кости, помутневшие зеркала. Время не

тронуло только Сергея Павловича. Он был так же провинциально элегантен и душист.

Мне очень хотелось, чтобы Вера Михайловна утвердилась в этом доме, чтобы она поделила мое умиление. Я чувствовал, как она не приживляется к моему прошлому. В сущности, я ничего не знал о ней. То, что она рассказывала о себе, не складывалось в целое, оно было безличным и безликим.

От посещения Сашиного дома остались у меня размытые воспоминания: напряженно деликатное лицо Веры Михайловны, когда Саша читал стихи, хрипловатый звук его гортанного голоса и обрывки нашего разговора с ним.

Я спросил:

— Что с Тосиком и с Мишкой?

— Все так же, — сказал Саша.

— А не известно, за что?

— Говорят, участие в какой-то организации.

— Ты можешь себе это представить?

— Это дело воображения, — сказал Саша.

Разговор был короткий. Вероятно, мы уже опасались друг друга. И он, и я верили в невинность наших друзей детства, но сами-то мы — друзья детства — уже не верили друг другу.

Это подлое недоверие, от которого становишься мерзок самому себе, всасывалось в кровь, заглатывалось из воздуха. Пропитавшиеся этой от-

равой, от которой обезумело бы животное, люди продолжали нормально существовать.

Деловито подозревая приятеля в предательстве, пили с ним водку; учителя опасались своих учеников; ученики — учителей. Страшась доноса и испытывая к нему отвращение, торопились донести первыми, чтобы опередить.

Я говорю не о том больном бреде, который вырывался из людей под пытками. И не о подметных письмах, отправляемых анонимно или подписанных кличками. Я говорю о той открытой и самой заразной форме доноса, которая стала жанром литературы и искусства, отраслью науки, родом публичных выступлений.

Доносы печатались в стихах, в художественной прозе, водили кистью художника, пером графика, клались на музыку; фильмы-доносчики приучали детей бдительно следить за своими родителями. В кандидатских и докторских диссертациях ученые доносили на своих коллег. Били даже не по отдельным лицам, а по квадратам, выжигая напалмом навета целые области наук дотла.

Открыто, с высоко поднятой головой, с гневным лицом выходили на трибуны фискалы. Их уже не нужно было нанимать. Расталкивая друг друга локтями, они бежали к трибунам сами. Оттачивая искусство доноса до блеска ножа, они вонзали его

не в спину, не в грудь — на наших глазах они перерезали им глотки наших друзей.

Мы не имели права плакать. Мы не имели права сидеть с каменными лицами. Мы должны были аплодировать. Подозрительность друг к другу въедалась в мозг, облучала гены, изменяя их код, она уже наследовалась.

И при всем этом — люди работали. Трудились, забывая себя, свою выгоду. Рисковали жизнью во имя счастья человечества. Это счастье отодвигалось, как мираж, все дальше. Люди шли к нему, как муравьи, груженные работой, неутомимые: встречая на своем пути павших товарищей, обползали их стороной и двигались со своей ношей вперед.

Это время показало, что человек не знает границ своих возможностей — ни к подвигу, ни к подлости.

Хронология мешает мне: она путается в ногах, пытаюсь создать порядок там, где он обременителен.

В жизни человека есть события, точно привязанные ко времени. Но случается и так: был год, были месяц и число, было некоторое царство-государство.

Катя ушла от Игоря Астахова и приехала ко мне. Она потом много раз уходила от него и приезжала ко мне, но в тот день это случилось в первый раз.

Поезд пришел ночью.

Я увидел ее в окошке вагона, ползущего вдоль перрона.

Она поскребла по стеклу, улыбнулась мне, и я пошел рядом.

Вещей у нее было немного — два чемодана. Я всегда смотрел ей в руки еще в ту секунду, как она появлялась в тамбуре: по количеству чемоданов я догадывался, надолго ли Катя ушла от Астахова.

В тот первый раз мы поехали с вокзала в гостиницу. Нам негде было жить. В квартире осталась моя жена Вера Михайловна.

Я вконец запутался. Вернее, я так никогда и не распутывался. В том, как складывалась жизнь Кати и моя, никто из нас не был волен. Отказаться от того, что выпадало на мою судьбу, я был не в силах. Мне было мало этого, но без этого я ничего для себя не значил. Без этого меня не было совсем.

С вокзала мы поехали по Невскому.

Квартиры для Кати у меня не было, но был у меня для нее сейчас этот пустой, рассветающий город — я очень на него рассчитывал.

Четыре коня, которых я поставил на Аничковом мосту, повернули к нам свои длинные добрые морды. Знакомые голые парни сдерживали их. Кони рвались из рук парней к Кате.

Оттого, что Невский был пуст, я населял его своим беспорядочным воображением. Два пол-

ководца — Кутузов и Барклай — ждали нас у Казанского собора, приспустив свои бронзовые плащи. У «Астории» гарцевал Николай Первый.

По Катиному московскому паспорту мы сняли самый дешевый номер. Его окна выходили во двор гостиницы и упирались в стену.

И опять провалилось время и не было никаких мыслей, кроме одной, безумной, — удержать это бессмысленное существование. От неполноты счастья, поминутно ощутимой, я терял голову. Не веря в то, что это продлится, я бросал все ради того, чтобы оно длилось. Изменялись пропорции окружавшего меня мира. Отсекалось ненужное сейчас, сегодня, сию минуту. Я слышал и видел только напролом — к Кате.

Деньги вскоре кончились — и мои, и Катины. У меня было много книг, я собирал их пятнадцать лет. Продав их букинистам с Литейного, мы уехали на юг.

В письменном столе, в правой тумбе, еще долго лежали конверты, надписанные ее рукой. Они продолжали приходиться ко мне уже в то время, когда мы разошлись. Последнее ее письмо я получил в конце войны. Соседка по лестнице, чудом пережившая блокаду, вручила мне его в сорок пя-

том году. Я не стал читать это письмо. Оно было мертвое. Оно было чужое, написанное как бы не мне и не Катей. Переписывались два незнакомых мне человека, я не имел права вникать в их отношения.

Раза три в год, приводя в порядок стол, я наткался на эти нераспечатанные конверты. Они торчали во мне, как невытащенные осколки, заросшие диким мясом. Боли уже не было, но в этом месте утратилась гибкость суставов, я вроде бы не сгибался в этом месте.

Так и не прочитав их, я сжег все письма в сорок девятом году, когда Катю арестовали.

Я сжег их из трусости.

В том, что я сделал, не было никакой логики. Волна послевоенных репрессий сбила меня с ног. Завывания газет и радиопередач, кликушество общих собраний загоняли меня в круг, обложенный флажками. Стрелки, расставленные по номерам, небрежно прислушиваясь к улюлюканью загонщиков, лупили, не целясь, на звук, в толпу. Мы смыкались, заполняя пустоты и ожидая следующего залпа.

Оказалось, что к этому можно привыкнуть.

Работали театры, играли в филармониях прославленные скрипачи и пианисты, задувались новые гигантские домны, возводились невиданные

по размерам плотины, справлялись свадьбы, рождались все тем же путем дети, всходило и заходило солнце. Все было как ни в чем не бывало.

И разве только по ночам людей мучили сны.

* * *

Этого человека я увидел впервые на пыльной площади нашего поселка. Он стоял в стареньком, выцветшем от солнца сатиновом халате, накинутом, очевидно, на трусы и майку, — сквозь расстегнутый ворот халата выбивались седые волосы, доползшие сюда с его груди. У ног, обутых в домашние шлепанцы, стояла просторная корзина; в ней были разложены бумажные газетные фунтики со свежими корешками — лук-порей, сельдерюшка, укроп.

Место, которое он выбрал для своей мелкой торговли, было бойкое: мимо проходил рейсовый автобус и неподалеку останавливался.

Базара в нашем поселке в те годы не было, одинокий торговец выручал дачников зеленью. Цены он назначал терпимые.

Я и сам иногда покупал его фунтики. Трудно стоять на солнцепеке в пыли — я жалел этого пожилого человека. Изумляло меня, что он выбрал вовсе не безопасное место: через площадь, напро-

тив, высилось двухэтажное деревянное здание поселковой милиции. Молоденькие милиционеры, воспитанные в том духе, что частная торговля порождает акул капитализма, посматривали на него хмуро. Однако, странное дело, его не гнали прочь. Иногда только приближался к нему участковый, старший лейтенант Томилин, и ноющим голосом просил:

— Хоть бы штаны надели, товарищ подполковник.

Торговец оправлял на себе халат и вежливо отвечал:

— Жарко, Томилин.

— Неужели вам от людей не совестно? — спрашивал Томилин. — Пенсию имеете, правительственные награды... А лавку организовали середь бела дня в центре населенного пункта.

Сняв рыжую велюровую шляпу и обнажив сырую, неприятно белую лысину, торговец вздыхал:

— И охота тебе была вязаться ко мне, Томилин? Я свое продаю. Ты под меня клинья не подобьешь. Читать надо газеты, Томилин. Все для человека. А человеку нужен суп. А в супе корешки. Восполняю недоработку госторговли.

— Совести у вас нет, — сникал участковый.

— И опять у тебя промашка. Не знаешь последних установок: совесть — понятие беспартийное; она может быть наша, а случается — и не наша.

Начитанный подполковник без труда побивал темного старшего лейтенанта.

Эти вялые идеологические баталии разворачивались на моих глазах не однажды. К отставнику, торгующему зеленью, я относился с брезгливым сожалением. Не зная обстоятельств его жизни, я не рисковал осуждать его. Тем более что корешки для супа в нашем поселке другим путем добыть нельзя было.

Мое отношение к нему определилось случайно, на рыбалке.

Встретились мы на озере у Белых Дач — так назывались светлые постройки, раскинувшиеся по высокому берегу этого огромного озера. Я знал, что здесь издавна, уже лет пятнадцать, живут отставники.

Наши лодки оказались неподалеку друг от друга. Рыбы в озере мало — ее много раз глушили взрывчаткой, травили известью, таскали сетями, выжившая Божьей волей мелочь металась по всему водоему, и даже ее настигнуть крючком было трудно.

Вечерняя зорька уже кончилась, солнце закатилось, но раскаленное его огнем небо утихало не сразу.

Я пристал к маленькому лысому островку, изгаженному чайками. Эта птица, романтическая в

полете, удивительно неопрятна в быту. Вся прибрежная галька, все валуны на острове были облеплены ее пометом.

Когда я вылез на камни и разжег из обломков пересохшего камыша костерок, чайки повисли над моей головой, крича на меня базарными голосами: между камней ковыляли их голенастые, уродливые птенцы, покрытые не перьями, а шерстью.

Я хотел пересидеть здесь короткую летнюю ночь, до утренней зорьки.

Уже в темноте до меня донеслось тихое повизгивание уключин — к берегу причалила лодка.

Отставник вышел из мрака на мой огонь. Сейчас он был подтянут в своем ватнике и высоких резиновых сапогах.

— Не возражаете?

Он сел на камень по другую сторону костра.

Мы перекинулись двумя-тремя фразами о рыбалке, потом я спросил:

— В каком роде войск вы служили, товарищ подполковник?

Помолчав, он ответил:

— В органах.

— Давно?

— С тридцатого года. В пятьдесят пятом справлял юбилей. Вышел на пенсию по состоянию здоровья.

— А какое у вас состояние здоровья? — спросил я.

— Печень, — сказал подполковник. — Сердце. Центральная нервная система. У нас на Белых Дачах полное собрание инвалидов. — Он посмотрел на меня через пламя костра и, вероятно не различив выражения моего лица, добавил: — Бессонница, сволочь, мучает.

— С чего бы это? — сказала я.

— Заснешь на часок, а потом маешься до утра. Возрастное... У вас, наверное, такая же картина?

— Нет, — сказал я. — У меня другая история болезни.

Мы были одного с ним поколения. Но я не желал, чтобы даже бессонница была у нас с ним общая.

— Вы, случаем, не врач? — спросил подполковник.

Я мотнул головой.

— Отстает наша медицина, — вздохнул подполковник. — Отхватить руки-ноги — это мы умеем, а нервишки подлатать — не научились. За границей, говорят, изобрели пилюли. Там вообще лечат — будь здоров! Не наши партачи.

— Пятьдесят восьмая статья, пункт десятый, — сказал я. — За такие утверждения в сорок девятом году вы сажали в тюрьму.

Он поднял на меня равнодушное лицо:

— Играет значение конкретная историческая обстановка.

Пятый угол

— Значит, вы ни в чем себя не вините?

— Лично?

— Хотя бы.

— Случалось, ошибался. Но общую линию вел правильно. — Он взял в руки птенца, лежащего за камнем. — Осточертели мне эти вопросы.

— Детей, — сказал я, — маленьких детей отбирали у арестованных родителей и отдавали в детдом под номерами. А новорожденных сажали в тюрьму вместе с матерью.

— Нынче все стали умные, — зевнул подполковник. — Болтают что ни попадя. Вы кто будете по профессии?

— Учитель.

— Детишек в школе чему учили? Болеть за советскую власть? Ну и я за нее болел. Двадцать пять лет стоял на охране ее идей. Кабы плохо работал, не вывели бы на заслуженный покой. От государства имею полное уважение, а частные лица попрёкают. — Он аккуратно положил на место птенца, отошел в темноту и помочился. Вернувшись, сказал: — Наслушался я этих разговорчиков! Едешь в электричке, каждый мозгляк норовит обобщать. Все для него сделали — нарушения признали, соцзаконность восстановили, ленинские нормы. Работай, учись, строй новое общество! А ему, сопляку, мало. Он воротит нос. Антисоветчину поет под гитару... Была б моя воля...

Я спросил:

— Посадили бы?

— Зачем? Сейчас такой установки нет. Профилактически можно побеседовать. А может, он псих какой-нибудь. Тогда лечить надо... Вздремнем маленько?

Я отчалил от острова затемно. Подполковник спал, подложив под голову на камень шляпу. Рассвет застиг меня у Белых Дач, якорь придерживал мою лодку на легком утреннем ветру.

Берег в этих местах покатый, с озера хорошо просматривались приусадебные участки. Трудолюбивые отставники уже копошились на своей земле. В пижамах, стареньких галифе, в поношенных гимнастерках, они возились с дымярами у своих ульев, обкапывали приствольные круги яблонь, пололи грядки.

Рыба склевывала наживку на моих удочках. Я не смотрел на поплавки. Белые Дачи застали мне белый свет. Глядя на этих людей, отслуживших свой срок в органах, я пытался отгадать, кто из них первый сбил с ног ударом кулака Исаака Бабея или Всеволода Мейерхольда.

Я силился понять, что видят они сейчас, ранним утром, на небе, когда поднимают к нему свои заспанные глаза?

Пятый угол

Неужели то же солнце?

Неужели есть такая установка, чтобы они видели солнце?

* * *

Вот о ком, Зинаида Борисовна, ничего не мог рассказать вам Саша Белявский — о моем блокадном друге Яше Гурине.

До его гибели мы были знакомы с ним года три, но это глупый счет, когда речь идет о Яшке Гурине.

Должен быть у каждого человека хотя бы один такой друг, память о котором не позволяет тебе совершить дурной поступок. Себя-то лично, при острой надобности, удастся уговорить на всякую дрянь, но худенький Яша и сегодня лихорадочно блестит передо мной своими калеными глазами чахоточного. Я помню чуть влажное пожатие его руки. Он часто вытирал ладони скомканным носовым платком и поскуливал:

— Вот заразы, опять потеют.

У него был большой простодушный рот с широкими обескровленными губами.

Мне не известны подробности его биографии. Когда-то я был любопытным: выпрашивая у человека его жизнь, я составлял свое понятие о нем. Но со временем получилось так, что подробности жизни отдельной личности перестали объяснять

мне ее особенности. На моих глазах совершенно разные биографии перемалывались в беспощадных жерновах истории, и в результате выползал фарш, в котором уже трудно было разгадать первоначальный замысел природы. И я стал судить о человеке с того момента, как узнавал его. Мне важно было понять, что удалось сохранить ему из собственных обломков. И сложились ли они заново.

О Яше я знал только то, что происходило при мне.

При мне, в сорок первом году, он походил на комсомольца двадцатых годов. Это было не поверхностное сходство. Дело не в косоворотке, которую он любил носить. Косоворотка объяснялась его неприютностью — ее можно было долго не стирать. Ему удалось пронести сквозь страшные годы веру такой чистоты, что Яша светился ею, как карманный фонарик; никого не слепя, он указывал нам, куда надо поставить ногу, чтобы не споткнуться.

Иногда мне казалось, что он живет поверх того, что происходило. Судорога отвращения сводила его рот, когда рядом случалось что-либо мерзкое.

Яша Гурин был нашим начальником. Ведая отделом радиокомитета еще до начала войны, он остался в этой должности и в блокаду. На фронт его не взяли — туберкулез источил Яшины легкие, с военного учета он был снят.

Пятый угол

Я попал в радиокomitee случайно. Будучи преподавателем ФОНа, я сделал от скуки две-три радиопередачи, содержания которых не помню. Гурину показалось, что во мне дремлет способность изображать в смешном виде мелкие человеческие пороки.

То, что я писал, передавалось раз в месяц, в воскресенье, по городской трансляционной сети.

В воскресное утро 22 июня передача не состоялась. Я решил, что у меня испортилась старенькая радиотарелка — она молчала, — и позвонил Гурину.

Он сказал:

— Происходит какая-то петрушка: полчаса назад Москва велела прекратить наши передачи и держать всю аппаратуру наготове.

Мой институт эвакуировался через месяц. Я остался в Ленинграде.

Война пришла к нам не сразу: город начали бомбить 8 сентября.

Два с половиной месяца до этой первой фронтовой ночи происходила в людях кристаллизация мужества и страха. Она продолжалась и потом. Блокада длилась так долго, что мужественные люди, случалось, успевали пасть духом, а трусы порой обретали стойкость.

Человеческая психология, обнаженная до бесстыдства неистовым блокадным голодом и ар-

тиллерийским обстрелом, далеко не всегда показательна. Было бы слишком жестоко составлять суждение о человеке только по тем свойствам, которые обнаруживались в нем в этих противоестественных условиях.

Средняя продолжительность людской жизни — шестьдесят—семьдесят лет. За этот срок внезапность ужасов блокады пришлось на один ее год. Почему же именно этот год следует считать наиболее типичным для характеристики человека? Обнаружившаяся его низость нередко бывала закономерна для него. Но ведь случалось и так, что иной человек был низведен до этой низости своим полным перерождением. Он становился отвратителен. Смотреть на него было тошно. Однако то был уже не он. И пожалуй, единственный вывод, который можно было из этого сделать, — с таким человеком не следует коротать блокаду. На него нельзя положиться, когда он по-звериному, безысходно голоден. Но разве это нормальное состояние человечества?

Зимой сорок первого — сорок второго года я так не думал. Я судил людей и обо мне судили люди по тем беспощадным законам, которые установила блокада. Блокадная исключительность еще долго бродила в наших жилах. Поставленные в эти невыносимые условия помимо нашего желания, объ-

единенные одной сволочной судьбой, мы зачастую презрительно относились к тем, кто не хлебнул этого пошла.

Я знавал людей, великолепно державшихся долгие дни и ночи осады Ленинграда и рухнувших нравственно в пору полной сытости.

Яша сказал мне:

— Врага надо разить чем попало. И смехом в том числе. Тебе поручается писать фельетоны про фашистов. Три раза в неделю. Ленинградцы должны смеяться, слушая твои фельетоны!

Это невыполнимое задание я получил от Гурина вскоре после начала войны. Ко мне был прикреплен редактор. Ныне он профессор Ленинградского университета, а тогда был просто Юрой.

Юра первым выслушивал то, что я сочинял. Дочитав свой фельетон до конца, я подымал глаза и видел скучное лицо своего редактора.

— Не смешно, — говорил Юра.

Он подходил к дверям и с порога произносил:

— Когда получится смешно, ты постучи изнутри, я открою.

Щелкал замок, дверь запиралась.

Среди мук, испытываемых в блокаду, эта мука — писать смешно — доводила меня до слез.

Вчитываясь в трагические сводки Информбюро, вслушиваясь в истошный вой сирен воздушной тревоги, я волтузил Гитлера и Геббельса.

Я стирал их в порошок, от них оставалось мокрое место.

Но их войска уже стояли у Средней Рогатки, а орудия лупили по городу с Вороньей горы.

Репродукторы были включены намертво в городскую сеть. В промерзших навывлет квартирах, во тьме, над улицами, усыпанными толченым стеклом, стучал метроном. Незамысловатый прибор, отсчитывавший когда-то ритмы мелодий, теперь отмеривал нашу ближнюю судьбу.

В первые недели войны в радиокомитете еще не представляли себе, какими словами заполнить часы вещания. Передавались фронтовые сводки, стучал метроном, затем выплывали в эфир испытанные маленькие лебеди Чайковского, перечислял свои никому уже не нужные богатства индийский гость — холодные оперные страсти растворялись в тревожном небе.

Если война может стать буднями города, то эти будни еще не наступили.

— Радио должно говорить! — вскипел Яша Гурин. — Оно не имеет права молчать. Люди не могут жить только плохими сводками!

Убеждать ему приходилось не нас.

— Товарищ Гурин, — останавливал его инструктор обкома Ковалюнец. — Мне не нравится ваше настроение.

— Мне оно самому не нравится, — кивал Яша.

— На каком основании вы находите сводки плохими? Проходит процесс заманивания врага.

Яша вытер комком платка свои влажные ладони. Он улыбнулся:

— Честно говоря, товарищ Ковалюнец, было бы намного приятней, если б мы не заманивали его аж до Пулкова.

Эта формулировка, насчет заманивания, уже давно приелась нам. Чаще всего ею пользовались люди, вскорости покидающие город.

Было не так-то просто найти в радиопередачах тот тон, который хотя бы несколько соответствовал жизни ленинградцев. Поначалу все казалось неподходящим. Привычная залихватская бодрость была оскорбительно фальшивой. Уныния хватало и без радио. Яша Гурин стремился к тому, чтобы в передачах присутствовала правда. Она не могла быть и, может, не должна была быть полной. Правда блокады оказалась такой внезапной и такой страшной, что сам Бог постарался бы частично приукрасить ее. У Ленинграда нельзя было отнимать надежду. Город имел право на восхищение своим мужеством.

Сейчас я его не преувеличиваю. Возможно, мне повезло: меня окружали стойкие друзья.

Я жил неподалеку от радиокомитета, и, покуда его работники не перешли на казарменное положение, кое-кто из них забегал ко мне передохнуть после суточного дежурства. Спали вповалку на полу, подстелив пальто, одеяла, тряпье.

По какой-то счастливой случайности мой телефон еще работал. Ночью Яше иногда удавалось дозваниваться в Москву. Там жила его жена, никто из нас не знал ее.

— Ляля! — кричал он в трубку. — Лялечка, все хорошо... Вранье, Лялечка, мы живем ничего себе... — И перед тем, как повесить трубку, он смущенно оглядывался на нас и произносил в трубку уже потише: — Ляля, я люблю тебя.

В сорок четвертом году, когда блокада уже была прорвана, его сдали в солдаты — туберкулезного, снятого с учета, необученного.

Это произошло внезапно. Вот с чего началось.

Оркестр радиокомитета давал открытый концерт в Большом зале филармонии.

Яша убедил музыкантов, что все должно быть как в мирное время, — они вышли на эстраду в белых манишках, во фраках, с черными бабочками на тонких шеях.

В зале стоял лютый мороз.

Пятый угол

Публика, утепленная шубами, полушубками, шинелями и валенками, изумленно ахнула и поднялась, когда оркестранты появились на эстраде. Им устроили овацию еще до того, как они взялись за свои инструменты.

Яростней всех хлопал Яша. Аплодисменты обогрели его минут на пять: он, единственный слушатель в этом огромном помещении, был без пальто. В плохо отутюженном костюме, в мятой, но белой и чистой рубашке с галстуком, обутый в надраенные слюной туфли, Яша стоял сбоку, неподалеку от крайней ложи, и хлопал изо всех сил.

В антракте инструктор Ковалюнец сказал ему:

— Вы зря, товарищ Гурин, подчеркиваете свое «я». В ложе сидят люди, которых знает и уважает весь город. Они считают необходимым сидеть в верхней одежде, не выделяя себя из народа. К чему эта ваша демонстрация?

Яша посмотрел на него большими, непонимающими глазами:

— Но я же просил музыкантов прийти во фраках! Из уважения к их поступку... — У него стучали от холода зубы, красные пятна гуляли по его запавшим щекам. — И вообще, какое вам дело?..

Через несколько дней, вернувшись с обеда из радиокомитетской столовки, Яша увидел на доске приказов свеженаклеенную бумажку.

Гурин Я. Л. увольняется по сокращению штатов.

Он не пошел объясняться к председателю радиокомитета.

Он пошел в военкомат и через сутки оказался на фронте политбойцом.

Известие о его гибели пришло не скоро. Он уже лежал в солдатской могиле, когда еще велись вялые хлопоты о его возвращении. Редактор Юра собрал подписи под заявлением с просьбой отозвать Гурина в радиокомитет.

Председатель сказал:

— Только этого не хватало в нашем героическом городе — коллективки!.. В условиях блокады коллективка — преступление, за которое надо карать по законам военного времени. — Он протянул редактору листок с заявлением. — Возьмите. Вы этого не писали, я этого не читал. — Порывшись в ящике стола, он вздохнул: — Яша был хорошим работником.

* * *

Долгие годы завоевывалось у нас право человека, описывающего исторические события, свидетелем которых он был, говорить от первого лица.

Не полагалось произносить местоимение «я». Следовало писать «мы». «Я» считалось недостоверным. Говорить надо было только от лица народа.

Для многих это облегчало задачу, ибо в трудно проверяемых достижениях народа легко утопить горе отдельной личности. Так же, как бесспорным умом и талантом народа несложно прикрыть собственную бездарность и глупость.

Я не излагаю исторические события. Старикам свойственно вспоминать свою жизнь. Для меня она сложилась так, что я не принимал непосредственного участия в создании истории своего народа. Мои поступки не имели исторического значения. Они совершались на фоне того, что происходило вокруг. Сливался ли я с этим фоном или выделялся на нем, не играло никакой роли.

Впервые я понял это после войны. Ленинградская блокада резко обострила ощущение соучастия. Судьба человека перестала быть индивидуальной. Какую бы ничтожную работу я ни вел в радиокомитете, мне представлялось, что это нужно «нам».

Сквозь мою судьбу просматривалась судьба города. Мы совпадали с городом — в отчаянии и в надежде.

Приученный войной и блокадой к общности интересов, к соучастию, я полагал, что это ощущение закрепится с победой. Оно должно было закрепиться — мы столько мечтали об этом!

Нам казалось, что мы что-нибудь да значим. Война списала прошлые мои сомнения. Я был убежден, что начнется новый отсчет. Уважение к жертвам народа требовало нового отсчета.

Я хотел личной ответственности за то, что происходит.

Я хотел, чтобы мое мнение учитывалось.

Нас собрали в августе сорок шестого года в Смольном. Я был здесь впервые.

Странное чувство охватило меня, когда я оказался в широком длинном коридоре перед огромными высокими дверьми, ведущими в зал. Я как бы захлебнулся в литературных реминисценциях. Все это здание было для меня цитатой. В краткие минуты, до той поры, покуда мы не узнали, для чего нас вызвали, на меня обрушилось все, что я слышал о Смольном.

Распахнулась дубовая дверь в зал. Я вошел в цитату. Мне не выбраться из нее до сих пор.

Полный человек среднего роста, в хорошо сшитом просторном костюме, с небольшими усиками на круглом упитанном лице, вышел на помост. Портреты этого человека я много раз видел. Сейчас, в жизни, у него оказались и ноги: до сих пор я привык видеть его по пояс. В кругах высшей интеллигенции его принято было называть даже заочно Андреем Александровичем. Без фамилии. Когда же поясной его портрет висел на стенах домов или проносился на палках демонстрантов, то это уже был Жданов. С ногами он был Андрей Александрович, а в виде бюста — Жданов.

Сейчас, перед многолюдным собранием, он появился живой, полностью, целиком — Андрей Александрович Жданов. Это звучало для нас не как имя, отчество и фамилия, а как титул, как высшее звание.

Он пересек помост из правого края в левый, мимо стола длинного президиума, и, дойдя до трибуны, с которой Ленин в семнадцатом году провозглашал советскую власть, положил на эту трибуну стопку книг — из них торчали белые бумажные закладки. Его лицо было хмуро. Даже разгневанно. И стопку книг он не положил, а как-то даже обрушил на трибуну.

Свой доклад он произносил, не всходя на трибуну, а расхаживая неподалеку от нее. Шаги его тоже были гневные, досадливые. Говорил он без затруднений, легко, не заглядывая ни в какие бумаги. Иногда быстро приближался к трибуне, брал сбоку одну из принесенных книг, раскрывал ее по закладке и брезгливо читал строфу стихов. Потом швырял книгу обратно на трибуну.

Я слушал этот доклад, свободный и от излишнего почтения к Жданову, и от преднамеренного протеста. Я слушал его, как слушают любого человека. Я хотел понять его мысли. Учительская профессия и точный сухой предмет — математика приучили меня вслушиваться в смысл, не окружая его никаким посторонним ореолом.

Речь шла о литературе, которую я прилично зналилюбил. Рассказы Зощенко и стихи Ахматовой были мне известны. Точка зрения Жданова на их творчество ошеломила меня. Она показалась мне настолько чудовищной, что я раз десять в течение этого доклада оглядывался по сторонам, пытаюсь понять, что же думают люди вокруг меня.

Их лица были непроницаемы.

На моих глазах тогда впервые происходило нечто нереальное. Несколько сот хорошо грамотных людей производили над собой противоестественное усилие, которое казалось мне даже мышечным, а не мозговым, потому что, только парализовав свои мышцы, можно было не встать с места, не застонать, не сойти с ума. Я потом привык к подобным собраниям, но тогда это было в первый раз. Во мне и вокруг меня шла незримая разрушительная работа: в нас что-то хрустело, дробилось и ломалось; осколки пытались выстроиться, как солдаты, в затылок, строй нарушался.

И тем не менее шестьсот интеллигентных людей, многие из которых были связаны бесконечно личным уважением и к Зощенко, и к Анне Ахматовой, шестьсот человек, прошедших сквозь ужасы недавней войны, невозмутимо сидели сейчас на своих местах в этом зале и почтительно слушали этого рано располневшего, круглолицего мужчину с франтоватыми усиками, который раз-

драженно вышагивал перед нами и говорил свой отвратительно грубый вздор.

Растерянность в зале была так велика, что даже те несколько ораторов, которые поторопились выскочить на трибуну после Жданова, не смогли так срочно отомобилизовать свое лицемерие; их коротенькие речи были беспомощны даже применительно к подлости.

Я вышел из Смольного в первом часу ночи.

На обратном пути в электричке я с завистью смотрел на людей, заполнивших вагон: они еще ничего не знали. И я жалел их — им еще предстояло узнать это завтра.

Ехали юноши и девушки, которым предстояло вбить себе в голову то, что сейчас слышал я.

Ехали грудные дети, для которых это будет вполне естественным.

Ехали старики — им предстояло умереть с этим.

На завтра и на много лет вперед это приобретет силу закона.

С той ночи для меня утратилась здравая логика жизни.

То, что разлилось вслед за этим собранием в Смольном, уже перекатилось через судьбы писателей Зощенко и Ахматовой. И даже не будущее ли-

тературы меня беспокоило; со временем все расставится по своим местам — это я себе с трудом, но представлял.

Быстрота и простота, с которыми люди сделали чужую, нелепую и жестокую точку зрения своей, — вот что было поразительно. Поразительна была страсть, с которой люди, уже доброхотно, расширяли эту точку зрения, распространяли ее и назад и вбок, молотя ею по головам своих мертвых и живых товарищей.

Нужно очень гадко думать о человечестве, чтобы представлять себе, что оно охотно соглашается совершать мерзость. Я долго учительствовал, и у меня всегда было четкое ощущение, что класс или аудитория, в которую я вхожу, состоит из хороших людей. Из людей, предназначенных совершать честные поступки. Это в них как бы запрограммировано самой природой. Глядя на взрослого человека, я, по привычке, всегда думаю: каким он был в детстве?

Мне кажется, у лучших людей детство соотносится со взрослостью, как подобные фигуры в геометрии. У хорошего человека и в зрелости просматриваются его детские черты.

Зрелый же тупой негодяй наводит на невеселые мысли. Прежде чем он появился на свет в том виде, в котором мы сейчас его наблюдаем, природа миллионы лет работала на него. Все свое волшебное медленное искусство она потратила на создание и

совершенствование этого организма. Она провела его через тысячи разновидностей: он был амебой, рыбой, дельфином, обезьяной — все лучшее отбиралось природой для своего любимейшего венца творения. Загадочность белка, из которого он построен, до сих пор не познана. Чародейское устройство его мозга, миллиарды хитроумнейших клеток, являющиеся его сутью, поражают воображение. Что же надо было с собой сделать, какую злую работу надо было провести над этим организмом, чтобы свести на нет все титанические усилия доброй и старательной природы! Зачем ему все это? К чему это тонкое — как у всех — устройство серого вещества, к чему эта мгновенно, со скоростью мысли, срабатывающая нервная система? Даже белая рубаша, даже галстук и бритая на лице кожа — излишество. Ходил бы, черт возьми, голый, покрытый шерстью, с каменным топором, жил бы где-нибудь в лесном массиве, в тайге, в пещере, в пампасах, считался бы среди зверья начальником — все-таки троглодит! — и не путался бы под ногами человечества.

Теперь уже совсем скоро, Зинаида Борисовна. Вот только разберусь со своими делами и приеду к вам в Самарканд. А какие у меня дела? Никаких. Невеселое привыкание к собственной старости.

Порой мне кажется, что то, что я пишу, приводит к самоотравлению. Гуляла во мне инфекция и вот догулялась.

Вы знаете, Зинаида Борисовна, что такое стариковская ночь? В какую бы сторону ни подумал — покоя нет. Как будто вмонтирован в череп самый чувствительный приемник. У него двойное питание: включенный в сеть моего прошлого, он работает на истощенных батареях моей совести. В нем нет вырезанных диапазонов. Нет глушилки. Усилим воли я пытаюсь переключить его с одной волны на другую. Это не «Голос Америки», это — мой голос.

Сон не приходит.

Подумаем о чем-нибудь совсем постороннем. О рыбной ловле. В Латгалии, в местечке Зейнешки, клевало неплохо. Снасти у меня были хреновенькие. На рака клевало. А угри берут на вьюна. На вьюна они отлично берут. Не сбиваться. Значит, они прилично относятся к вьюну. А потом пришел почтальон и принес газеты. Там было про врачей-убийц. Закругляемся с этой волной.

На чем же мы остановились? В прошлый раз мы остановились на логарифмах. Логарифм — это показатель степени, в которую надо возвести основание для того, чтобы получить число. Вспомним. 030 103. 047 712. Маленькая книжечка таблиц Пржевальского. Это — Гаусс. А есть еще — Непер. Много чего есть. Секанс есть. И косеканс есть. Им-то ничего не сдела-

ется. Гражданин Гаусс, вы признаете себя виновным? Признаю. Я хотел вместе с гражданином Непером восстановить в Советской России капитализм.

Может быть, мне мешает уснуть тишина. Трещал бы сверчок. Куда они подевались, сверчки? Это что — кузнечик? Или кузнечик — это другое? Кузнечики — это, кажется, цикады. Интересно, сколько поколений цикад сменилось с тех пор в Батилимане?..

Я пришел к Игорю Астахову в пятьдесят четвертом году. Он жил на юго-западе Москвы в новом доме. Мы никогда не были с ним на «ты». А после долгой разлуки сложилось «ты». В новой квартире была его новая жена. Я не помню ее лица: она только подавала на стол и тихо сидела с краю. Не я начал разговаривать о Кате. Игорь начал. Потом он встал, подошел к буфету, на буфете стояла маленькая деревянная коробочка в форме сундучка. «Узнаёшь?» — спросил Игорь. Я узнал, когда он открыл крышку и вынул. В этой чапашке я встретил ее ночью в Ташкенте. Красная суконная чапашка со светлыми кружочками. И хвостик в центре. Что-то вроде тубетейки. «Это еще не всё», — сказал Игорь. Он вынул из сундучка нижнюю сорочку, шелковую, голубого цвета. Я спросил: «А не перепутали? Может, тебе вернули чужую? У них ведь осталось много женского белья». — «Не думаю, — сказал Игорь. — В этом смысле у них был порядок.

Ты выпей. Тебе еще предстоит кое-что узнать». Я выпил. Его жена потрогала рукой бок чайника и понесла его греть на кухню. Она долго грела — до самого моего ухода. «Там теперь новые люди, — сказал Игорь. — Довольно растерянные парни. Тот, который меня вызвал, все время тер свою морду руками, вроде она у него замерзла. Он предложил мне: давайте выйдем погуляем на солнышке. Мы дошли от Лубянки до садика у Большого театра и сели. Вы, наверное, понимаете, сказал он, что Екатерина Федоровна реабилитирована. Поверьте, мне горько сообщать это вам, но, к сожалению, реабилитация посмертная. Я спросил у этого парня, долго ли она просидела. Он ответил, что недолго. Полтора месяца. Тогда я спросил у него, от чего она умерла. Он ответил: покончила жизнь самоубийством. «Понимаешь, — сказал Игорь, — я еще спросил у него — как? Он говорит, что способы не фиксировались в документах. Потом он вытащил из портфеля эти Катины вещи и дал их мне. А сундучок не ее — мой, — просто я туда все положил».

Это самая длинная волна в моем проклятом приемнике. И частота приличная — каждую ночь.

Теперь-то сон наверняка не придет. Разве что почитать стихи. «Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет...» Что-нибудь подлиннее и поспокойней. «Служил отлично, благородно, долгами жил его отец, давал три бала ежегодно и

Пятый угол

промотался наконец». «Приедается всё, лишь тебе не дано примелькаться, дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет...»

Все равно подпишешь, сука. А ну, ребята, покажите этой бляди, где в нашей комнате пятый угол.

Что же я делал в это время? Как я смел что-нибудь делать в это время? Все делали, и я делал. Может быть, я в ту минуту, когда она искала в четырехугольной комнате пятый угол, где-нибудь смеялся. Может, я в это время сидел в театре. Может, я в это время жил?

А теперь унесите ее, и пусть она хорошенько подумает. Ты давай думай, слышишь? Кончай эту волынку. Отец издох в тюрьме, и ты издохнешь.

Я позвонил Зинаиде Борисовне из Душанбе и сообщил ей номер поезда и номер вагона.

По правде говоря, я сильно волновался в преддверье этой встречи. Мы переписывались лет пять. Письма были нечастые — все темы в них давно исчерпались. Но само существование Зинаиды Борисовны взболтнуло во мне мое прошлое. Возможно, это произошло бы и независимо от нее — по законам моего пенсионного возраста, — однако наличие человека, знающего подробности твоей жизни, творит для тебя собеседника. Мне было к кому обращаться.

И, обращаясь к ней, я заботливо составлял ее в своей душе. Рассказать себе словами, какая она, я

бы не мог, да и не пытался. Это не имело для меня никакого значения. Парило в моем растревоженном воображении нечто родственное мне по духу, не облеченное в плоть. Оно составилось из крупинок моей жизни и жизни давних друзей.

Письма Зинаиды Борисовны не давали особой пищи для фантазии. Она ничего не писала о себе. Мои рассеянно-вежливые расспросы о ней она оставляла без ответа. Я знал только, что она работает в Самаркандском университете на кафедре иностранных языков.

Сейчас я понимаю — ее письма порой удивляли меня. Но это удивление отпечаталось как бы задним числом. Когда я получал ее письма, они не вызывали моего удивления. Читая их, я не задавал себе вопросов, я задавал себе только ответы. Мне не важна была Зинаида Борисовна — кто она? откуда она? какая она? — был для меня в Самарканде некий катализатор, без которого не вошли бы в соприкосновение причудливые тени прошлого.

...Прилетев московским самолетом в Душанбе, я в тот же день позвонил ей в Самарканд.

Разговор был короткий.

Короче, чем я ожидал.

Может, это случилось потому, что, привыкнув к интонации переписки, я растерялся, услышав незнакомый голос. Может, мне чудилось, что он, этот голос, непременно будет уже знаком, а он был

совершенно чужой. Голос, не населенный никакими ассоциациями. Повесив трубку, я подумал, что Зинаида Борисовна испытывает то же чувство.

Когда медленный душанбинский поезд, полупустой и пыльный, подходил к вокзалу в Самарканде, на перроне никого не было. Я стоял в тамбуре за спиной проводницы у самых ступенек вагона и не сразу заметил женщину, идущую неподалеку вдоль поезда. Она смотрела на меня, но я сперва не обратил на нее внимания. Вероятно, я подумал, что это кто-нибудь из вокзальных служащих. В длинном черном пальто, сильно поношенном, застегнутом только на две верхних пуговицы у горла, а на животе неопрятно распахнутом, в больших мужских башмаках, эта женщина шла уже вровень с моим вагоном.

Выискивая глазами Зинаиду Борисовну, обещающую встретить меня, я никого не увидел у поезда.

А женщина эта шла, она взялась даже рукой за поручень вагона.

Я посмотрел на нее внимательней, она улыбнулась мне всем своим некрасивым лицом. Не пойму почему, но мне не хотелось, чтобы она оказалась Зинаидой Борисовной.

Я запомнил Сашу Белявского молодым, щеголеватым юношей, изысканно интеллигентным, и мне было не под силу соединить его даже мысленно с этой женщиной. Улыбаясь сейчас, она была

особенно непривлекательна. Ее уродовала не старость, а запущенность. Что-то было не только в ее одежде, но даже в лице неряшливое. Нелепая глупая шляпка, слишком маленькая для ее крупной головы, сидела боком на нечесаных волосах. Грубо выдвинутый вперед рот — в нем недоставало зубов.

Все это я отметил мгновенно, кляня себя за придирчивость.

У вагона мы познакомились.

Зинаида Борисовна полагала, что я остановлюсь у нее, но я запросился в гостиницу.

Мой отказ огорчил ее.

— Я очень многого жду от нашей встречи, — сказала Зинаида Борисовна. — Ведь вы были самым близким другом Саши.

Она проводила меня до гостиницы и подождала, покуда я получил номер. Задержаться дольше она не смогла — ее отпустили с работы на полтора часа.

— У вас лекция? — спросил я.

Она ответила:

— Лекций у меня не бывает. Я работаю лаборантом на кафедре. Вам надо непременно прийти к нам в университет. Возможно, вы обменяетесь опытом.

Я пробормотал что-то в ответ. Мне показалось еще на вокзале, что она не слишком вслушивается в то, что я говорю.

— Вы мало изменились, — сказала Зинаида Борисовна. — Таким я вас и представляла себе по рассказам Саши... Значит, вечером вы у меня.

Весь день я слонялся по Самарканду.

Равнодушный к старинному зодчеству, я бродил по каменным плитам дворов древних мечетей, задерживался подле усыпальниц.

Холодное восхищение охватывало меня.

Постигнуть величие этих сооружений я не мог. Я никому не навязываю своей позиции, но, очутившись в Самарканде, я уже слишком устал от кровавой истории человечества. Величие, достигнутое такой ценой, претило мне. Рубили головы, травили ядом, засекали плетью, побивали камнями — и воздвигали себе памятники немислимой красоты. Владыки осточертели мне, даже если они обладали непревзойденным художественным вкусом.

Я знаю, что должен был восхищаться работой безвестных мастеров, но и это не получалось у меня искренно. Сквозь всю эту красоту я видел сейчас талант к азиатской покорности и рабству. Однообразие человеческой жестокости, уходящее в глубь веков, доколачивало меня здесь, в Самарканде. Ничто не придумано заново. Все было.

Вечером я пошел к Зинаиде Борисовне.

Она жила на одной из тех улиц, что не претерпели никаких изменений за последние сто лет. Безликие одноэтажные дома спускались вниз под

пыльную, немощеную гору. Они стояли близко друг к другу, разделенные только глухими деревянными воротами, в которых были прорублены невысокие калитки. Кроме антенн телевизоров, ничто не напоминало вторую половину двадцатого века. Да и много ли значат эти антенны? Заблудившись в десятилетиях, по ним не составишь правдивой картины жизни.

— Я переписала для вас Сашины стихи, — сказала Зинаида Борисовна. — Они в этой тетради. А здесь его фотографии. В большом конверте — письма ко мне. Пока я буду накрывать на стол, вы посмотрите.

Я сел в старенькое плюшевое кресло у кафельной печки. Зинаида Борисовна направилась в сени, где у нее шумел на табурете примус. Но по дороге к сеним она внезапно опустилась на круглый стул у раскрытого пианино и ударила пальцами по клавишам, взяв аккорд.

— К вашему приезду я специально настроила инструмент, — сказала она.

И вышла из комнаты.

Я стал рассматривать то, что она разложила передо мной на маленьком столе. Этого было не так уж много — гораздо меньше, чем можно было предположить.

Сашины стихи я знал — они все были датированы еще тем временем, когда мы встречались в Харькове. И штук пять фотокарточек были того же

периода, может быть, только чуточку более поздних. Тоненький пакет с письмами я не рискнул рассматривать подробно: приоткрыв его, я увидел в нем четыре конверта, надписанных четким Сашиним почерком. Обратный адрес на всех на них был харьковский. Когда я неловко повернул этот пакет, на стол выпал листок письма. Оно начиналось: «Дорогая Зина, ты напрасно опять упрекаешь меня...»

Дальше читать я не стал. В комнату вошла Зинаида Борисовна. Она спросила:

— Вас, вероятно, удивляет, что Саша так мало писал мне?

Она внимательно посмотрела на меня.

— Напрасно вы не прочитали его письма. Я не делаю из них секрета.

Мы сели пить чай. Ощущение неловкости и разочарования теснило меня все более. Однако Зинаида Борисовна не замечала этого. Она держалась уверенно и спокойно. В ее тоне, когда разговор шел о Саше, было что-то хозяйское, словно она имела основание владеть памятью о нем.

А я не мог себе этого представить. Чем подробнее она раскрывалась передо мной, тем насильственней угадывалась ее общность с Сашей. Его юношеские впечатления и взгляды двадцатипятилетней давности сохранились в ней, как в холодильнике: они лежали там нетронутые и неистраченные. Я спросил:

— В каком году вы с ним познакомились?

— В тридцать пятом. Саша был в аспирантуре и на каникулы приехал в Феодосию. А я жила в Феодосии. Да он, вероятно, рассказывал вам об этом...

— Мы редко виделись, — сказал я.

— А писать он не любил. — Она засмеялась. — Все его друзья жаловались на него. Даже Олечка Колотилова...

— Кто это? — спросил я.

— Боже ты мой! — сказала Зинаида Борисовна. — Вы не помните Олечку Колотилкову?! Она жила рядом с вами. На Садовой, угол Черноглазовской. Вот так идет Черноглазовская, а вот так — Садовая. Ваши окна выходили на ее ворота. Погодите, сейчас покажу вам ее фотокарточку.

На фотографии Олечка Колотилова оказалась маленькой сухонькой старушкой. Я понял, что она маленькая: она стояла в каком-то скверике, держась рукой за спинку скамьи и несильно над ней возвышаясь. У ног ее паслись голуби.

— Узнали? — спросила Зинаида Борисовна.

— Нет, — сказал я.

— Станный вы человек. Саша всех помнил.

Я хотел сказать ей, что Саша погиб четверть века назад и что не известно, кто бы остался в его натруженной памяти, живи он сегодня, — но не решился.

— А давно вы видели эту Колотилкову в последний раз? — спросил я.

— Олечку? Я вообще никогда не видела ее, — сказала Зинаида Борисовна. — Но это не имеет значения, ведь мы регулярно переписываемся.

— А в Харькове, — спросил я, — когда вы жили в Харькове...

— Я никогда там не жила, — ответила Зинаида Борисовна. — Я же вам только что рассказывала: мы познакомились с Сашей в Феодосии.

В ее голосе послышалась досада на мою бестолковость.

Чего-то я действительно не мог взять в толк. И это начинало меня раздражать, хотя я отлично представлял себе, что мое раздражение неприлично.

Сделав над собой усилие, я сказал:

— Простите меня, Зинаида Борисовна. К сожалению, еще задолго до войны мы виделись с Сашей нечасто. И возможно, вы преувеличиваете мою с ним близость. Нас далеко раскидало в те годы.

Она удивленно посмотрела на меня:

— Но ведь юность сохраняется в человеке навсегда.

— Если бы! — сказал я. — У меня-то она сильно захламлена.

— А я живу только ею.

Незнакомая пожилая и некрасивая женщина сидела со мной за чайным столом. Только сейчас я увидел, как необычно все, что нас окружает. В

этой комнате все вещи были случайными и словно выхваченными из минувшей действительности. При взгляде на них тотчас всплывали их прежние наименования: шифоньер, оттоманка, гардероб, фортепьяно, и даже тогда, когда они так назывались, они были уже старомодными. Я не люблю нынешнюю новую мебель — она для меня слишком магазинная, не обладающая личным характером, неодушевленная. Но в этой комнате существовала другая крайность: вещи растеряли своих бывших владельцев, жизнь выцедилась из них по капле, они стояли мертвые, несоединимые между собой.

— Вам проще, — сказал я. — Вы виделись с Сашей вплоть до его ухода на войну.

— Нет, — сказала Зинаида Борисовна. — После Феодосии мы не встречались ни разу.

Понимая всю глубину своей бестактности, я спросил:

— Сколько же это продолжалось?

— Почему «продолжалось»? Это продолжается и сейчас. У меня никого не было, кроме Саши. Когда он погиб, его друзья стали мне близкими людьми.

— Кого же из них вы видели? — спросил я.

— Никого. Вы — первый.

Я не мог себе вообразить этой жизни. Я спросил:

Пятый угол

— Откуда же вам столько известно обо всех нас?

— Я писала письма. Мне отвечали. Ведь вы мне тоже отвечали? Вот так и другие.

— Но почему, — спросил я, — почему вы ни разу не приехали в наш Харьков до войны?

— Не получилось, — сказала Зинаида Борисовна. — Саша не хотел.

Удивительно было: в ее голосе не мелькало и ноты сокрушенности. Она отвечала мне победительно, словно именно так и должны были сложиться ее отношения с Сашей.

По всем человеческим законам ее следовало жалеть. Логически я это понимал, но, обычно легко жалостливый, я не мог сейчас наскрести в своей душе ни крупинки сочувствия к ней. Она мне не нравилась. Я не мог себе представить ее иной, нежели видел сейчас. Это было несправедливо до жестокости, но меня заколодило. Я не мог пропустить ее в свое прошлое.

— Вы не думайте, что это был просто курортный роман, — сказала Зинаида Борисовна. — Саша читал мне свои стихи, мы много беседовали на разные темы. Если бы не война, все могло бы сложиться иначе... Хотите, я вам сыграю то, что мы любили?

И, не заручившись моим согласием, она перенесла свое грузное тело из-за стола на круглый стул у пианино.

— Садитесь поближе, — попросила Зинаида Борисовна. — Я должна видеть выражение вашего лица.

Она заиграла и запела. Не знаю, что можно было вычитать на моем лице. Она молотила своими толстыми пальцами по клавишам, пианино гудело под ее тяжелыми руками. И поверх этого гуда раздавалось ее неумелое пение.

И в самый пожар моего стыда за нее я внезапно подумал: кому-нибудь и я смешон. Еще я подумал: разве это так уж смешно, когда нелюбимая тобой женщина через двадцать лет после того, как ты ее бросил и тебя уже давным-давно нет на земле, собрала вокруг себя все, что от тебя осталось?

И впервые я посмотрел на Зинаиду Борисовну с жалостью и восхищением.

А она, раскрыв свой большой рот, изнемогая, докрикивала: «Отвори потихоньку калитку!..»

И я отворил, я впустил ее к Саше.

Учеников теперь у меня нет. Страсть моего учительства направлена внутрь себя. Я стою перед самим собой. Теперь мы одного возраста.

— Как сложилась твоя судьба? — спрашиваю я.

— Благополучно, — отвечаю я.

— Что ты имеешь в виду под этим ничего не выражающим словом?

Пятый угол

— То, что я жив. И не более того?

— Знаешь что? — раздражаюсь я. — Ты мне здорово надоел.

— Ты мне — тоже. Мы осточертели друг другу, но выхода у нас нет. Кому-то ведь я должен иметь право задавать вопросы.

— Валяй. Задавай.

— Начнем сначала. Как сложилась твоя судьба?

— Случайно.

— Но, я надеюсь, ты никого для этого не предал?

— Смотря что вкладывать в это понятие.

— Так у нас ничего не получится. Отвечай точно: предавал или не предавал?

— Если точно, то предавал.

— Насколько я знаю, ты имеешь в виду не прямое предательство, а то, что принято называть попустительством? Ты ведь только молчал?

— Да.

— А бывало так, что ты молчал, внутренне протестуя, внутренне негодуя?

— Ого. Сколько раз. И сердце рвалось на куски.

— Тогда почему же ты все-таки молчал? Только из страха?

— Не только. Главным образом, но — не только. Меня угнетала бессмысленность какого бы то ни было протеста. Мой протест ничего бы не изменил.

— Это удобная теория, — сказал я.

— Пошел к чертовой матери, — сказал я. — Ты прекрасно знаешь, что было именно так. Люди покрупнее меня тоже молчали. И я не думаю, что они поступали так только из боязни за собственную шкуру. Протестуя, они бы бессмысленно и бесславно погибли, а продолжая жить, они имели возможность приносить пользу. Они делали свое конкретное дело хорошо, честно.

Я спросил:

— Тебя устраивает эта точка зрения?

Я ответил:

— Нет.

— Почему же ты ее отстаиваешь?

— Потому что я не могу придумать ничего лучшего. Все остальное гораздо подлее.

— А зачем вообще придумывать? Что было, то было. Зачем ты все время в этом копаешься? Живи с нового отсчета, с начала.

— А я не знаю, где начинается начало. И бывает ли оно в истории.

— Любопытно. Ты производишь на меня впечатление человека, отравившегося собственной биографией.

— Слушай, — сказал я, — теперь мой черед задавать вопросы.

— Прошу вас, — сказал я.

Один из нас был хам, а второй — изо всех сил старался быть воспитанным. Тот, который слыл хамом, жалобно спросил:

Пятый угол

— Но ты во что-нибудь веришь?

— Видишь ли...

— Не финти! Отвечай прямо. Так, как будто от твоего ответа зависит твоя жизнь. Веришь?

— Верю, но не могу сформулировать.

— Странная вера, которую нельзя сформулировать!

— То есть можно, — сказал я, — но, сформулированная, она выглядит не очень убедительно. Впрочем, может, это и лучше. У человечества было столько формулировок! От самых чудовищных до самых возвышенных. И я пришел к выводу, который, возможно, покажется тебе горьким... Я просто и незамысловато верю в добро.

— В каком смысле? — спросил хам.

— В том смысле, что оно осилит.

— И под это знамя ты рассчитываешь собрать единомышленников?

— Да не хочу я собирать никаких единомышленников! Я же тебя предупреждал! Нет у меня формулировки моей веры. Нет у меня знамени. Но если у меня отнять то, что у меня есть, то, что осталось, несмотря ни на что, то я же совсем пропал. Без этой веры я пропал гораздо сильнее, нежели пропадал раньше...

— Болтовня! Я хочу знать, что у тебя осталось?

— Все, с чего я начинал. Нет у меня ничего другого, понимаешь, нету! Я перебрал все, что есть в мире, все, что придумано человечеством. Мне

ничего не подходит, кроме того, во что я верил с самого начала. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь — твоя жизнь не соответствовала этому началу. Ну и пусть. Она должна была соответствовать! Что-то случилось, чего я не в силах понять. Я не умею думать, что случившееся — закономерно. У меня под ногами есть клочок, на котором я стою. Не трогай его, пожалуйста.

— Да я не трогаю, — сказал я. — Счастливо тебе!

— Куда ты? — спросил я.

— Не знаю. Да мне ведь и некуда.

И еще прошли годы. Сто, двести лет. Я ничего не забыл. Человеческая память обладает охранительным свойством: забывается лишь то, что заслуживает забвения.

Выгорая от времени и коробясь по углам, воспоминания выцветают, как давние любительские фотографии. Выцветают подробности...

У меня не сохранилось ни одного Катиного снимка. Мы не дарили их друг другу на память — страсть запечатлеть себя на глянцевой бумаге еще не стала в то время тотальной. В нашей юности люди фотографировались редко.

Пожалуй, это и хорошо, что у меня не сохранилось ни одного Катиного снимка: расстояние от него до меня возрастало бы. Мне было бы все

невозможнее представить себя, сегодняшнего, рядом. Без ее фотокарточки мне проще вообразить и себя молодым: мы вдвоем существуем только в моем воспоминании. Мы равны. Мы не старели бок о бок. Мне не надо делать никакого усилия, чтобы увидеть ее прекрасной. Время не разрушило ее.

Она наделила меня могуществом мага: стоит мне чуточку поколдовать над своей памятью, и Катя снова и снова — сколько раз прикажу — идет мне навстречу. Харьков ли это, Ленинград, Батилиман — не имеет значения. Она идет мне навстречу по неопознанной земле, по планете.

Я не могу припомнить, во что она одета, я не помню ни одного ее платья, мне не нужны подробности. Грохочет гром, светит солнце, льет дождь, метет метель — и все это вместе, разом, — мне наплевать, что так не бывает. Когда я вижу ее, идущую навстречу, я забываю даже век, в котором это происходило. Мне важно только одно — чтобы она дошла до меня.

Я забыл цвет ее глаз и волос. В моей памяти не сохранилось даже словесного портрета. Если бы мне описали черты ее лица, я не опознал бы их. Она была для меня неделима. Вся, какая есть. Такая — что я готов был бежать от нее на край света. Такая — что я готов был ползти за ней на край света.

Мой сосед по дому, бывший политрук стрелковой роты, а ныне преподаватель философии одного из ленинградских институтов, вот уже десять лет кряду проводит свой летний отпуск в походах. С рюкзаком за спиной, в грубых, не знающих износу сапогах, он добирается поездом до Великих Лук, а затем, пеший, бродит по одному ему ведомым маршрутам.

Здесь, в этих краях, полегла вся его рота. Цепко запомнив места боев, мой сосед кружит и кружит, отыскивая могилы однополчан. Они давно уже поросли травой, хлебами, бурьяном; на истлевающих костях уже громоздятся деревенские постройки, а он все шарит и шарит по земле, как сапер миноискателем. За десять лет он нашел не так уж много могил. Но это стало главной мыслью его жизни. Перемогаясь осень, зиму и весну в институте, он нетерпеливо ждет летних каникул: вещмешок — за спину, испытанная обувь — на ноги, палку — в руки, и пошел, безоружный, назад, на войну.

В сельсоветах, в правлениях колхозов, в избах вновь отстроенных деревень уже хорошо знают этого докучливого пешехода. Сперва к нему относились внимательно: места захоронения, которые он отыскивал на пустующих землях, обнесли оградой, залили цементом могильные плиты, окрест посадили прутьики лиственниц. Были произнесены

Пятый угол

речи районного значения, местная газета напечатала заметку с мутной фотографией сельского митинга — по всем принятым понятиям вопрос был исчерпан до дна.

Однако бывший политрук наезжал в эти края и в следующий год, и еще в следующее лето, и мало-помалу надоел людям. Рота, полегшая здесь двадцать пять лет назад, была маршевая, она откатывалась из-под Новгорода, мертвые ее бойцы никому из местных не доводились родичами, и люди устали болеть душой за незнакомые кости. Да и стариков — не скошенных войной очевидцев — осталось тут с горсть, — никто ничего не помнил и не мог подсказать минувшую обстановку боя за сёла.

А пешеход все тычется по району, докучая расспросами и просьбами, да еще в самую страдную пору, летом. И про него стали думать и говорить, что он какой-то блажной, чокнутый. Опалившемся войной, ему никак не прийти в себя...

Встречаясь с ним во дворе нашего дома, беседа весенними легкими вечерами в дворовом садике, я понял, что мы больны одним безумием.

Мы оба бродим среди неотысканных могил.

1967

19324

Меттер И.

М54 Пятый угол: повесть / Израиль Меттер. – М.:
Текст: Книжники, 2009. — 187[5] с.

ISBN 978-5-7516-0821-7 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0027-4 («Книжники»)

Повесть Израиля Меттера «Пятый угол» была написана в 1967 году, переводилась на основные европейские языки, но в СССР впервые без цензурных изъятий вышла только в годы перестройки. После этого она была удостоена итальянской премии «Гринцана Кавур». Повесть охватывает двадцать лет жизни главного героя — типичного советского еврея, загнанного сталинским режимом в «пятый угол».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Израиль Меттер

Пятый угол

Повесть

Редактор В. Петров

Корректор Н. Пущина

Издательство благодарит Давида Розенсона
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 16.06.09. Формат 70 x 100/₃₂.
Усл. печ. л. 7,8. Уч.-изд. л. 6,63. Тираж 5000 экз. Изд. № 857.
Заказ № 6852

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (499) 150-04-82

E-mail: textpubl@yandex.ru; <http://www.textpubl.ru>

Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 312-52-63

Издательство «Книжники»

127018, Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 5а

Тел. (495) 792-31-10; 792-31-13

E-mail: info@knizhniki.ru; lechaim@lechaim.ru

<http://www.knizhniki.ru>; <http://www.lechaim.ru>

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

OCR Давид Титиевский, сентябрь 2020 г., Хайфа

В серии
ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
вышли:

Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина
Шолом АШ. Америка
Шолом АШ. За веру отцов
Юрек БЕКЕР. Яков-лжец
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник
рассказов
Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Бердичев
Давид ГРОССМАН. См. статью «Любовь»
Вильгельм ДИХТЕР. Олух Царя Небесного
Лиззи ДОРОН. Почему ты не пришла до войны?
Джессика ДЮРЛАХЕР. Дочь
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Папин домашний суд
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раб
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раскаявшийся
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Семья Мускат
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Сатана в Горае
А.-Б. ИЕГОШУА. Смерть и возвращение
Юлии Рогаевой
И. ГРЕКОВА. Свежо предание
Дина КАЛИНОВСКАЯ. О суббота!
Григорий КАНОВИЧ. Очарование сатаны
Даниэль КАЦ. Как мой прадедушка на лыжах
прибежал в Финляндию

Этгар КЕРЕТ. Когла умерли автобусы
Имре КЕРТЕС. Без судьбы
КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА. Рассказы
израильских писателей
Моисей КУЛЬБАК. Зелменяне
Примо ЛЕВИ. Периодическая система
Артур МИЛЛЕР. Фокус
Ирен НЕМИРОВСКИ. Давид Гольдер
Филип РОТ. Прощай, Коламбус
Карой ПАП. Азарел
ПО ЭТУ СТОРОНУ ИОРДАНА. Рассказы
русских писателей, живущих в Израиле
Мордехай РИХЛЕР. Улица
Габор Т. САНТО. Обратный билет
Даляя СОФЕР. Сентябрь Ширази
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ БАСИ СОЛОМОНОВНЫ
Рассказы
Говард ФАСТ. Торквемада
Меир ШАЛЕВ. Голубь и Мальчик
Меир ШАЛЕВ. Русский роман
Меир ШАЛЕВ. Эсав
Анджей ЩИПЁРСКИЙ. Начало,
или Прекрасная пани Зайденман
Асар ЭППЕЛЬ. Сладкий воздух
Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



первый ежедневно обновляемый независимый ресурс,
посвященный еврейским текстам и темам
в литературе и культуре
www.booknik.ru

nextbook 

For English language readers, we introduce **Nextbook.org**
Nextbook promotes the discovery and discussion of Jewish
literature, culture and ideas and produces the critically
acclaimed *Jewish Encounters* book series.
For more, visit **Nextbook.org**

